



МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

О ЧЕМ
ПЕЛ СОЛОВЕЙ

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

О ЧЕМ ПЕЛ СОЛОВЕЙ

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ
П О В Е С Т И



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1927 ЛЕНИНГРАД



Гиз № 18835/л.
Ленинградский Гублит № 33160.
12 л. Тираж 10.000

О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Коза	9
Аполлон и Тамара	35
Страшная ночь	61
О чем пел соловей	83
Веселое приключение	107
II	
Мудрость	139
Люди	153



ОТ АВТОРА.

Эта книга написана в самый разгар Революции. Читатель, конечно, в праве потребовать от автора настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса — одним словом, полной и высокой идеологии.

Не желая вводить небогатого покупателя в излишние траты, автор спешит уведомить с глубокой душевной болью, что в этой сентиментальной книге немного будет героического.

Эта книга специально написана о человеке во всей его неприглядной красе.

Пушай не ругают автора за выбор такой мелкой темы — такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь. Кому что по силам, кому что дано.

Один писатель широкими мазками набрасывает на огромные полотна всякие эпизоды, другой описывает революцию, третий военные ритуранели, четвертый занят любовными шашнями и проблемами. Автор же, в силу особых сердечных свойств и юмористических склонностей, описывает человека — как он живет, чего делает и куда, для примеру, стремится.

Автор признает, что в наши бурные годы прямо даже совестно, прямо даже неловко выступать с такими ничтожными идеями, с такими будничными разговорами об отдельном человеке.

Но критики не должны на этот счет расстраиваться и портить свою драгоценную кровь. Автор и не лезет со своей книгой в ряд остроумных произведений эпохи.

Быть-может, поэтому автор и назвал свою книгу сентиментальной.

На общем фоне громадных масштабов и идей эта книга, эти повести, для некоторых критиков, надо полагать, действительно зазвучат какой-то жалкой флейтой, какой-то сентиментальной трубухой.

А что в этой книге бодрости, может-быть, кому-нибудь покажется маловато, так это неверно. Бодрость тут есть. Не через край, конечно, но есть. Последние же страницы книги прямо брызжут полным весельем и сердечной радостью.

В заключение автор должен сказать, что некоторые повести этой книги печатаются уже вторично и слегка знакомы читателю. Автор очень просит на него не сердиться. Не только ради корысти сделано это. Автор собрал эту книгу главным образом для цельности впечатления.

1927 г.

КОЗА



Без пяти четыре Забежкин сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская, а бухгалтер, Иван Нажмудинович, от испуга вздрагивал, ронял ручку на пол и говорил:

— Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет, как бы тебе, Забежкин, тово,— под сокращение не попасть... Ну, куда ты торопишься?

Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу.

Двенадцать лет сидел Забежкин за этим столом. Двенадцать лет! Подумать даже страшно, какой это срок не маленький. Ведь, если за двенадцать лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет?

В четыре ровно Забежкин двигал нарочно стулом громко говорил—четыре, четыре костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так—любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины чорт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.

А что до встреч, то бывает, конечно, всякое... Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная харя сапоги гуталином чистит—дама вдруг... Черное платье, вуалька, глаза...

И подбежит эта дама к Забежкину... „Ох, скажет, молодой человек, спасите меня, если можете... Ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают“... И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо... А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста.

Или еще того проще—старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет. И падает вдруг. Вообще, головокружение. Забежкин к нему... „Ах, ах, где вы живете?“... Извозчик... Под ручку... А старичок, комар ему в нос,—американский подданный... „Вот, скажет, вам, Забежкин, трильон рублей“...

Конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой это человек может подойти к Забежкину? Какой это человек может иметь что-либо общее с Забежкиным? Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет, и нос загугулиной. Ну, еще нос и шея куда ни шло—природа, а вот прически, верно,—никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду.

И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку—из союза молодежи—сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклеики или даже колюшки крошечной.

Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах, мог ли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться?

Но однажды приключилось событие.

Однажды Забежкин захворал. То-есть не то чтобы слишком захворал, а так, виски заломило это ужасно как.

Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал—не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться.

Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмудиновичу сверх комплекта шинелька отпущена, и куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли, подлая личность, на сторону казенное имущество?

Виски заломило еще пуще.

И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмудиновича домой пораньше уйти.

— Иди, Забежкин,—сказал Иван Нажмудинович и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился.— Иди, Забежкин, но помни—нынче сокращение штатов...

Взял Забежкин фуражку и вышел.

И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском, на углу Садовой, помутилось у него в глазах, покачулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина прислонился. А из магазина в это время вышел человек (так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком) и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал:

— Извиняюсь.

— Господи!—сказал Забежкин.— Да что вы? Да пожалуйста...

Но прохожий был далеко.

„Что это?—подумал Забежкин.— Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит... Да разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня? Это же моль, мошкара, мошка крылами задела... И кто ж это?

Писатель, может-быть, или какой-нибудь всемирный ученый... Извиняюсь, говорит. Ах ты штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него..."

— Ах!—громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим.

И шел Забежкин долго за ним—весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы шли—шляпки с перьями—заслонили, и как в Неву сгинул необыкновенный прохожий.

А Забежкин все шел вперед, махал руками, сиял носом, просил извинения у встречных и после неизвестно кому подмигивал.

„Ого,—вдруг подумал Забежкин,—куда же это такое я зашел? Каменноостровский... Карповка... Сверну“,—подумал Забежкин. И свернул по Карповке.

И вот—трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!

„Присяду“,—подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке.

И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление.

„Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожиться“.

Три раза кряду читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз читать, но сердце вдруг забилося слишком, и Забежкин снова сел на лавку.

„Что ж это,—подумал Забежкин,—странное какое объявление? И ведь не зря же сказано: одинокому. Ведь это что же? Ведь это, значит, намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются... Это мужчина требуется, хозяин. Господи твоя воля, так ведь это же хозяин требуется!“.

Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.

— Коза!—сказал Забежкин.—Ей-богу правда, коза стоит... Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина... Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно.

И женюсь. Ей-богу, женюсь. Ежели, скажем, есть коза — женюсь. Баста. Десять лет ждал — и вот... Судьба... Ведь, ежели рассуждать строго, ежели комната внаймы сдается — значит квартира есть. А квартира — хозяйство, значит, полная чаша... Поддержка... Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки тюлевые. Покой... Ведь это же ботвинья по праздникам!.. А жена, скажем, дама солидная, порядок обожает, порядком интересуется. И сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит. И все так великолепно, все так благородно и все только и спрашивает: не хочешь ли, Петечка, покушать? Ах, ты штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше — жрет меньше.

Забежкин открыл калитку.

— Коза! — сказал он, задыхаясь. — У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже... Пускай Иван Нажмудинович завтра скажет: „Вот, дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты по сокращению штатов“... Хе-хе, ей-богу смешно... Удивится, сукин сын, поразится до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду... Пожалуйста. Коза есть. Коза, чорт меня раздери совсем! Ах ты, вредная штука! Ах ты смех какой!.. А женскому-то полу плюха какая, женский-то пол до чего дожил — не тревожиться. Не лезь, дескать, комар тебе в нос, здесь его величество, мужчина требуется...

Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.

3

У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.

„Жаль, — с грустью подумал Забежкин, — старая коза, дай бог ей здоровья“.

Во дворе мальчишки в чижика играли. А у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она

с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.

Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прямо-таки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже.

„Вот дура-то“, — подумал Забежкин.

Девка изнемогала.

— Эй, тетушка, — сказал Забежкин громко, — где же это тут комната внаймы сдается?

Но вдруг открылось окно над Забежкиным, и чья-то бабья голова с флюсом, в платке вязаном, выглянула во двор.

— Товарищ, — спросила голова, — вам не ученого, или агронома Пампушкина, нужно будет?

— Нет, — ответил Забежкин, снимая фуражку, — не имею чести... я насчет, как бы сказать, комнаты, которая внаймы.

— А если ученого агронома Пампушкина, — продолжала голова, — так вы не ждите зря, он нынче принять никак не может, он ученый труд пишет про что-то.

Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула.

— „Несколько слов в защиту огородных вредителей“...

— Чего-с? — спросил Забежкин.

— А это кто спрашивает? — сказал агроном, сам подходя к окну. — Здравствуйте, товарищ!.. Это, видите ли, статья: „Несколько слов в защиту огородных вредителей“... Да вы поднимитесь наверх.

— Нет, — сказал Забежкин, пугаясь, — я комнату, которая внаймы...

— Комнату? — спросил агроном с явной грустью. — Ну, так вы после комнаты... Да вы не стесняйтесь... Третий номер, ученый агроном Пампушкин... Каждая собака знает...

Забежкин кивнул головой и подошел к девке.

— Тетушка, — спросил Забежкин, — это чья же, например, коза будет?

— Коза-то?—спросила девка.—Коза это из четвертого номера.

Из четвертого?—охнул Забежкин.—Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?

— Там,—сказала девка.—Только сдана комната.

— Как же так?—испугался Забежкин.—Не может того быть. Да ты что, опупела, что ли? Как же так—сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты...

— А не знаю,—ответила девка,—может, и не сдана.

— Ну, то-то—не знаю, дура такая. Не знаешь, так лучше и не говори. Не извращай событий. Ты вот лучше скажи—чьи куры ходят?

— Куры-то? Куры Домны Павловны.

— Это какая же Домна Павловна? Не комнату она сдает?

— Сдана комната!—с сердцем сказала девка, в подо собирая ножи.

— Врешь. Ей-богу, врешь. Объявление есть. Ежели бы объявления не было, тогда иное дело—я бы не сопротивлялся. А тут—объявление. Колом не вышибешь... Заладила сорока Якова: „сдана, сдана...“ Дура такая. Ты лучше скажи—индейский петух—навверное уже не ее?

— Ее.

— Ай-я-яй?—удивился Забежкин.—Так ведь она же богатая дама?

Девка ничего не ответила, икнула в ладонь и ушла.

Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.

„Вот,—подумал Забежкин,—ежели сейчас лизнет в руку—счастье: моя коза“.

Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.

— Ну, ну, дура!—сказал, задыхаясь, Забежкин.—Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то... Вспомнил: съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь... Ну, ну, после дам.

Забежкин в необыкновенном волнении нашел четвертую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.

— Вам чего? — спросил кто-то, открывая дверь.

— Комната...

— Сдана комната! — сказал кто-то басом, пытаясь закрыть дверь. Забежкин крепко ее держал руками.

— Позвольте, — сказал Забежкин, пугаясь, — как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ... Как же так? Я время потратил... Проезд... Объявление ведь...

— Объявление? Иван Кириллыч! Ты что ж это объявление-то не снял?

Тут Забежкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой, и что дама — размеров огромных. И нос у ней никак не меньше забежкинского носа, а корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.

— Сударыня, уважаемая мадам, — сказал Забежкин, снимая фуражку и для чего-то приседая, — мне бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конуренушку...

— А вы из каких будете? — спросила изрядным басом Домна Павловна.

— Служащий...

— Ну, что ж, — сказала Домна Павловна, вздыхая, — пушай тогда. Есть у меня еще одна комнатуха. Не обижайтесь только — подле кухни...

Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще раз грустно вздохнула и повела Забежкина в комнаты.

— Вот, — сказала она, — смотрите. Скажу прямо: дрянь комната. И окно — дрянь. И вид никакой, а в стену. А вот с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана.

— Прекрасная комната! — воскликнул Забежкин. — Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни... Разрешите — я и переуду завтра...

— Ну что ж? — сказала Домна Павловна. — Пушай тогда. Переезжайте.

Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз, с грустью, прочел объявление, сложил его и спрятал в карман.

„Да-с, — подумал Забежкин, — с трудом, с трудом счастье дается... Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут... Да еще телеграфист... Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, с трудом счастье дается!

4

Забежкин переехал. Это было утром. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: „ага!“. И ученый агроном Пампушкин, оставив ученую статью „Несколько слов в защиту вредителей“, подошел к окну.

И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз.

Забежкин развязывал свое добро.

— Подушки! — сказали зрители.

И точно: две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх.

— Сапоги! — вскричали все в один голос.

Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли они носками и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: „ого!“. И Домна Павловна милостиво потеряла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было.

— Книги... — конфузясь сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.

— Книги?

И ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.

— Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком, — сказал агроном, с любопытством рассматривая сапоги. — Это что же, — продолжал он, — это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?

— Нету, — сказал Забежкин, сияя, — это в некотором роде частное приобретение, и, так сказать, движимость. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в брильянтах держать... а, извиняюсь, что такое брильянты? Только что блеск, да бессмысленная игра огней...

— М-м, — сказал агроном с явным сожалением, — то-то я и смотрю — что такое? — будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?

— Цвет! — сказал Забежкин в восторге. — Это цвет, наверное, не такой. Такой цвет — раз, два и обчелся...

— Катюшечка! — крикнул агроном голове с флюсом. — Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получали.

Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то, очень древнего вида, старушка, думая, что раздают сапоги бесплатно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой.

— Вот! — закричал агроном, обильно брызгая в Забежкина слюной. — Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!

Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зубами, подбрасывал сапоги вверх, бросал их наземь — они падали как поленья.

— Необыкновенные сапоги! — орал агроном на Забежкина таким голосом, точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался. — Умоляю вас, взгляните! На-те! Бросайте их на землю, бросайте — я отвечаю!

Забежкин сказал:

— Да. Очень необыкновенные сапоги. Но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать...

Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат? Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие говорите явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим. Не выдержат! — горько усмехнулся агроном, наседая на Забежкина.

— На камни безусловно выдержат, — с апломбом сказал вдруг телеграфист, вылезая вперед, — а что касается... Под тележку если, например, и тележку накатить враз — нипочем не выдержат.

— Катите! — захрюкал агроном, бросая сапоги. — Катите, на мою голову!

Забежкин налег на тележку и двинул ее. Сапоги помялись и у носка лопнули.

— Лопнули! — закричал телеграфист, бросая фуражку наземь и топча ее от восторга.

— Извиняюсь, — сказал агроном Забежкину, — это нечестно и нетактично, милостивый государь! Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком... Это подло даже, боком наезжать. Нетактично и по-хамски с вашей стороны!

— Пускай он отвечает, — сказала сожительница агроному. — Он тележку катил, он и отвечает. Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить — сапог не напасешься.

— Да, да, — сказал агроном Забежкину, — извольте теперь отвечать полностью.

— Хорошо, — ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом, — возьмите мою пару.

Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привзвизгиваньем, будто его щекотали подмышками.

„Красавец! — с грустью думал Забежкин. — И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может...“.

Так переехал Забежкин.

5

На другой день все стало ясно: телеграфист Забежкину мешал.

Не Забежкину несла Домна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне и не для Забежкина Домна Павловна надела чудный сиреневый капот. Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста, Ивана Кирилловича.

Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Домна Павловна смеялась.

„Смеется, — думал Забежкин, слушая, — и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется... Значит, ей, дура, весело, а весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно.

Целый день Забежкин провел в тоске. На утро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая, к чертовой матери, работа, ежели, скажем, такое беспокойство. Мало того, что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно притти. Там на двор. Кур проверить. Узнать — мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто — вздрючить того. Козе тоже корку отнести нужно... Хозяйство...

— А хоть и хозяйство, — мучился Забежкин, — да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая, оттого что телеграфист мешает.

Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.

— Вот, Машка, — сказал Забежкин козе, — кушай, дура. Ну, что смотришь? Грустно? Грустно, Машка. Телеграфист мешает... Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать — любовь корни пустит.

Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку.

— А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек, не поддастся на пустяки. Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал. Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня революция подействовала... И как убрать, ежели он и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?

Коза тупо смотрела на Забежкина.

— Ну, пойду, Машка, пойду, может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист — главная запятая. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловной кофей бы пил... Ну, пойду...

И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая

руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу. И пошел к телеграфисту.

В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, ворочался по комнате, двигал стулом.

„Сапоги чистит, — подумал Забежкин и постучал“.

Точно: телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу.

— Пардон, — сказал телеграфист, — я ухожу, извиняюсь, скоро.

— А ничего, — сказал Забежкин, — я на секундочку... Я, как сосед ваш по комнате, и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны, почел долгом представиться: сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин.

— Ага, — сказал телеграфист, — ладно. Пожалуйста.

— И, как сосед, — продолжал Забежкин, — считаю своим долгом, по кавказскому обычаю, подарок преподнести — сапожки.

— Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги? — спросил телеграфист, любуясь сапогами. — Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед... Я не могу так, знаете ли.

— Ей-богу, возьмите...

— Разве что по кавказскому обычаю, — сказал телеграфист, примеряя сапоги. — А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали?.. Горы, наверное? Эльборус, чорт его знает какой? Нравы... Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят... Чересчур отдаленная страна...

— Нет, — сказал Забежкин, — это не я. Это Иван Нажмуудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахичевани был...

Еще Забежкин хотел рассказать про кавказские нравы, но вдруг сказал:

— Батюшка, уважаемый сосед, молодой человек! Вот я сейчас на колени опущусь...

И Забежкин встал на колени. Телеграфист испугался и закрыл рот.

— Батюшка, уважаемый товарищ, бейте меня, уничтожайте! До боли бейте.

Телеграфист, думая, что Забежкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забежкина.

— Ну, так! — сказал Забежкин падая и вставая снова. — Так. Спасибо! Осчастливили. Слезы у меня текут... Дрожу и решенья жду — съезжайте с квартиры, голубчик, уважаемый товарищ.

— Как же так? — спросил телеграфист, закрывая рот. — Странные ваши шутки.

— Шутки! Драгоценное слово — шутки! Батюшка сосед, Иван Кириллович, вам с Домной Павловной баловство и шутки, а мне — настоящая жизнь. Вот весь перед вами заголился... Съезжайте с квартиры, в четверг же съезжайте... Остатний раз прошу. Плохо будет.

— Чего? — спросил телеграфист. — Плохо? Мне до самой смерти плохо не будет... А если приспичило вам... да нет, странные шутки... Не могу-с.

— Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу...

— Не могу-с... Да и за что же мне с 'квартиры съезжать? Мне нравится эта квартира. Да вы, впрочем, хорошенько попросите... Расход ведь в переездах, и, вообще, вы попросите. Я люблю, когда меня просят.

Забежкин бросился в свою комнату и через минуту вернулся.

— Вот! — сказал он, задыхаясь. — Вот сапожки и шнурки вот запасные. Телеграфист примерил сапоги и сказал:

— Жмут. Ну, ладно. Дайте срок — съеду. Только странные ваши шутки...

Забежкин ушел в свою комнату и тихонько сел у окна.

Забежкин на службу не пошел.

С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корячки.

— Готово, Машка. Шабаш. Убрал вчера телеграфиста. Кобенился и сопротивлялся, ну да ничего — свалил... Сапоги ему, Машка, отдал... Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут, главное, на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка. Розу сейчас пойду куплю. Вот, скажу, вам роза — нюхайте... Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка... Ну, ну, нету больше. Хватит.

Забежкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел, Домна Павловна пришла к нему раньше.

Она сказала:

— Ты что ж это сапогами-то даришься? Ты к чему это сапоги телеграфисту отдал?

— Подарил я, Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна.

— Это Иван Кириллыч-то хороший человек? — спросила Домна Павловна. — Неделю, подлец, не живет и до свиданья. С квартиры съезжает... Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашиваю!?

— А я, Домна Павловна, думал...

— Чего ты думал? Чего ты, розява, думал?

— Я думал, Домна Павловна, — он и вам нравится. Вы всегда с ним хохочете...

— Это он-то мне нравится? — Домна Павловна всплеснула руками. — Да он цельные дни бильярды гоняет, а после с девчонками... Чего я в нем не видала? Да он и вниманья-то своего на меня не обратит... Ну, и врать же ты... Да он, прохвост ты человек, при наружности своей, любую тонконогую возьмет, а не меня. Ну, и дурак же ты...

— Домна Павловна, — сказал Забежкин, — про тонконогую это до чего верно вы сказали — слов нет. Это такой человек, Домна Павловна... Он заврался давеча; люблю, говорит, тонконогих, а на полненькую и вниманья не обращаю. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал.

— Ну? — спросила Домна Павловна.

— Ей-богу, Домна Павловна... Он тонкую возьмет, ей-богу правда — уколоться об локоть можно, а он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на крупную фигуру всегда обращаю свое вниманье. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь.

— Ври еще!

— Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня это очень превосходная дама... И для многих тоже... Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил — тоже заинтересовался. Это, спрашивает, кто же такая гранд-дам интереснейшая?

— Ну? — спросила Домна Павловна. — Так и сказал?

— Так и сказал, дай бог ему здоровья. Это, говорит, не актриса ли Люком?

Домна Павловна села рядом с Забежкиным.

— Да это какой же, не помню чего-то? Это не тот ли — рыжеватый будто и угри на носу?

— Тот, Домна Павловна. Тот самый, и угри на носу, дай бог ему здоровья!

— А я думала, он к Ивану Кириллычу прошел... Так ты бы его к столу пригласил. Сказал бы: вот, мол, Домна Павловна кофею просит выкушать... Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?

— Нет, — сказал Забежкин, задыхаясь, — нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил: люблю такие превосходные глаза, млею даже, как посмотрю... Вообще, многоуважаемые глаза...

— Ну, ну, уж и любишь? — удивилась Домна Павловна. — Поел, может, чего лишнего — вот и любишь.

— Поел! — вскричал Забежкин. — Это я-то поел, Домна Павловна! Нет, Домна Павловна, раньше это

точно я превосходно кушал, рвало даже, а нынче я, Домна Павловна, на хлебце больше.

— Глупенький, — сказала Домна Павловна, — ты бы ко мне пришел. Вот, сказал бы...

— А я вас, Домна Павловна, совершенно люблю! — вскричал Забежкин. — Скажите: упади, Забежкин, из окна — упаду. Как стелечка упаду, Домна Павловна! Как стелечка на камни лягу и имя еще прославлять буду!

— Ну, ну, — сказала Домна Павловна, конфузясь.

И ушла вдруг из комнаты. И только Забежкин хотел к козе пройти, как Домна Павловна снова вернулась.

— Побожись, — сказала она строго, — побожись, что верно сказал про чувства...

— Вот вам крест и икона святая...

— Ну, ладно. Не божись зря. Кольца купить нужно... Чтоб венчанье и певчие.

— И певчие! — закричал Забежкин. — И певчие, Домна Павловна. И все так великолепно, все так благородно... Дозвольте же в ручку поцеловать, Домна Павловна! Вот-с... А я-то, Домна Павловна, думал — чего это мне не по себе все? На службе невтерпеж даже, домой рвусь... А это чувство...

Домна Павловна стояла торжественно посреди комнаты.

Вокруг нее ходил Забежкин и говорил:

— Да-с, Домна Павловна, чувство... Давеча я, Домна Павловна, опоздал на службу, — размечтался на разные разности, а когда пришел, Иван Нажмуудинович ужасно так строго на меня посмотрел. Я сел и работать не могу. Сижу и на книжке де и пе рисую. А Иван Нажмуудинович галочки сосчитал (у нас, Домна Павловна, всегда, кто опоздал, галочку насупротив фамилии пишут), так Иван Нажмуудинович и говорит: „Шесть галочек насупротив фамилии Забежкин... Это, не поперли бы его по сокращению штатов“...

— А пушай! — сказала Домна Павловна. — И так хватит.

Венчанье Домна Павловна назначила через неделю.

В тот день, когда телеграфист собрал в узлы свои вещи и сказал: „Не поминайте лихом, Домна Павловна, завтра я съеду“ — в тот день все погибло.

Ночью Забежкин сидел на кровати перед Домной Павловной и говорил:

— Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается. Иные очень просто и в Америку ездят, и комнаты внаймы берут, а я, Домна Павловна... Да вот, не пойдя я тогда за прохожим, ничего бы и не было. И вас бы, Домна Павловна, не видеть мне, как ушей своих... А тут прохожий. Объявление. Девицам не тревожиться. Хе-хе, плюха-то какая девицам, Домна Павловна!

— Ну спи, спи! — строго сказала Домна Павловна. — Поговорил и спи.

— Нет, — сказал Забежкин, поднимаясь, — не могу я спать, у меня, Домна Павловна, грудь рвет. Порыв... Вот я, Домна Павловна, мысль думаю... Вот коза, скажем, Домна Павловна, такого счастья не может чувствовать...

— А?

— Коза, я говорю, Домна Павловна, не может ощущать такого счастья. Что ж коза? Коза — дура. Коза и есть коза. Ей бы, дуре, только траву жрать. У ней и запросов никаких нету. Ну, пусти ее на Невский — срамота выйдет, недоразумение... А человек, Домна Павловна, все-таки запросы имеет. Вот, скажем, меня взять. Давеча иду по Невскому — тыква в окне. Зайду, думаю, узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком себя чувствуешь. А что ж коза, Домна Павловна? Вот хоть бы и Машку нашу взять — дура, дура и есть. Человек и ударить козу может и бить даже может и перед законом ответственности не несет — чист, как стеклышко.

Домна Павловна села.

— Какая коза, — сказала она, — иная коза при случае и забодать может человека.

— А человек, Домна Павловна, козу палкой, палкой по башке по козлиной.

— Ну и коза, коза может молока не дать, как телеграфисту давеча.

— Как телеграфисту? — испугался Забежкин. — Да чего ж он ходит туда? Да как же это коза может молока не дать, ежели она дойная?

— А так и не даст!

— Ну, уж это пустяки, Домна Павловна, — сказал Забежкин, расхаживая по комнате. — Это уж... Что ж это? Это бунт выходит.

Домна Павловна тоже встала.

— Что ж это? — сказал Забежкин. — Да ведь это же, Домна Павловна, вы про революцию говорите... А вдруг да когда-нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят. Козы, например, или коровы, которые дойные. А? Ведь может же такое быть когда-нибудь? Начнешь их доить, а они бодаются, копытами по животам бьют. И Машка наша может копытами... А ведь Машка наша, Домна Павловна, забодать, например, Иван Нажмудиныча может?

— И очень просто, — сказала Домна Павловна.

— А ежели, Домна Павловна, не Иван Нажмудиныча забодает Машка, а комиссара, товарища Нюшкина? Товарищ Нюшкин из мотора выходит, Арсений дверьку перед ним — пожалуйста, дескать, товарищ Нюшкин, а коза Машка спрятавшись за дверкой стоит. Товарищ Нюшкин — шаг, и она подойдет, да и тырк его в живот, по глупости.

— Очень просто, — сказала Домна Павловна.

— Ну, тут народ стекется. Конторщики. А товарищ Нюшкин очень даже рассердится. — „Чья, скажет, это коза меня забодала?“ А Иван Нажмудиныч уж тут, задом вертит. „Это коза, скажет, Забежкина. У него, скажет, кроме того насупротив фамилии шесть гало-

чек". „А, Забежкина, скажет товарищ комиссар, ну так уволен он по сокращению штатов“. И баста.

— Да что ты все про козу-то врешь? — спросила Домна Павловна. — Откуда это твоя коза?

— Как откуда? — сказал Забежкин. — Коза, конечно, Домна Павловна, не моя, коза ваша, но ежели брак, хотя бы даже гражданский, и как муж, в некотором роде...

— Да ты про какую козу брендишь-то? — рассердилась Домна Павловна. — Ты что, у телеграфиста купил ее?

— Как у телеграфиста? — испугался Забежкин. — Ваша коза, Домна Павловна.

— Нету, не моя коза... Коза телеграфистова. Да ты, прохвост этакий, идол собачий, не на козу ли нацелился?

— Как же, — бормотал Забежкин, — ваша коза. Ей-богу, ваша коза, Домна Павловна.

— Да ты что, опупел? Да ты на козу рассчитывал? Я сию минуту тебя наскрозь вижу. Все твои кишки вижу...

В необыкновенном гневе встала с кровати Домна Павловна и, покрыв одеялом обильные свои плечи, вышла из комнаты. А Забежкин прилег на кровать, да так и пролежал до утра, не двигаясь.

8

Утром пришел к Забежкину телеграфист.

— Вот, — сказал телеграфист, не здороваясь, — Домна Павловна приказала, чтобы в двадцать четыре часа, иначе — судом и следствием.

— А я, — закричала из кухни Домна Павловна, — а я, так и передай ему, Иван Кириллыч, скотине этому, я и видеть его не желаю.

— А Домна Павловна, — сказал телеграфист, — и видеть вас не желает.

Домна Павловна кричала из кухни:

— Да посмотри, Иван Кириллыч, не прожег ли он матрац, сукин сын. Курил давеча. Был у меня один такой субчик — прожег. И перевернул подлец — не замечу, думает. Я у них, у подлецов, все кишки наскрозь вижу. Сволочь!..

— Извиняюсь, — сказал телеграфист Забежину, — пересядьте на стул.

Забежкин печально пересел с кровати на стул.

— Куда же я перееду? — сказал Забежкин. — Мне и переехать-то некуда...

— Он, Домна Павловна, говорит, что ему и переехать некуда, — сказал телеграфист, осматривая матрац.

— А пушай, куда хочет, хоть кошке под хвост! Я в его жизнь не касаюсь.

Телеграфист Иван Кириллыч осмотрел матрац, взглянул, без всякой на то нужды, под кровать и, подмигнув Забежину глазом, ушел.

Вечером Забежкин нагрузил тележку и выехал неизвестно куда.

А когда выезжал из ворот, то встретил агронома Пампушкина.

Агроном спросил:

— Куда? Куда это вы, молодой человек?

Забежкин тихо улыбнулся и сказал:

— Так, знаете ли... прогуляться...

Ученый агроном долго смотрел ему вслед. На тележке поверх добра на синей подушке стояла одна пара сапог.

9

Так погиб Забежкин.

Когда против его фамилии значилось восемь галок, бухгалтер Иван Нажмудинович сказал:

— Шабаш. Уволен ты, Забежкин, по сокращению штатов.

Забежкин записался на биржу безработных, но работы не искал. А как жил — неизвестно.

Однажды Домна Павловна встретила его на Дерябкинском рынке. На толчке. Забежкин продавал пальто.

Был Забежкин в рваных сапогах и в бабьей куцавейке. Был он не брит, и борода у него росла почему-то рыжая. Узнать его было трудно!

Домна Павловна подошла к нему, потрогала пальто и спросила:

— Чего за пальто хочешь?

И вдруг узнала — это Забежкин.

Забежкин потупился и сказал:

— Возьмите так, Домна Павловна.

— Нет, — ответила Домна Павловна, хмурясь, — мне не для себя нужно. Мне Иван Кириллычу нужно. У Иван Кириллыча пальто зимнего нету... Так я не хочу, а вот что: денег я тебе, это верно, не дам, а вот приходи — съедешь обедать по праздникам.

Пальто накинула на плечи и ушла.

В воскресенье Забежкин пришел. Обедать ему дали на кухне. Забежкин конфузился, подбирал грязные ноги под стул, качал головой и ел молча.

— Ну, как, брат Забежкин? — спросил телеграфист.

— Ничего-с, Иван Кириллыч, терплю, — сказал Забежкин.

— Ну, терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтоб не терпеть. Терпи, брат Забежкин.

Забежкин съел обед и хлеб спрятал в карман.

— А я-то думал, — сказал телеграфист смеясь и подмигивая, — я-то, Домна Павловна, думал — чего это он, сукин сын, икру передо мной мечет? А он вот куда сети закинул — коза.

Когда Забежкин уходил, Домна Павловна спросила тихо:

— Ну, а сознайся, соврал ведь ты насчет глаз и вообще?

— Соврал, Домна Павловна, соврал, — сказал Забежкин, вздыхая.

— Н-ну иди, иди, — нахмурилась Домна Павловна, — не путайся тут!

Забежкин ушел.

И каждый праздник приходил Забежкин обедать. Телеграфист Иван Кириллович хохотал, подмигивал, хлопал Забежкина по животу и спрашивал:

— И как же это, брат Забежкин, ошибся ты?

— Ошибся, Иван Кириллыч...

Домна Павловна строго говорила:

— Оставь, Иван Кириллыч! Пушай ест. Пальто тоже денег стоит.

После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил:

— Нынче был суп с луком и турнепс на второе...

Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку.

Однажды, когда Забежкин съел обед и корку спрятал в карман, телеграфист сказал:

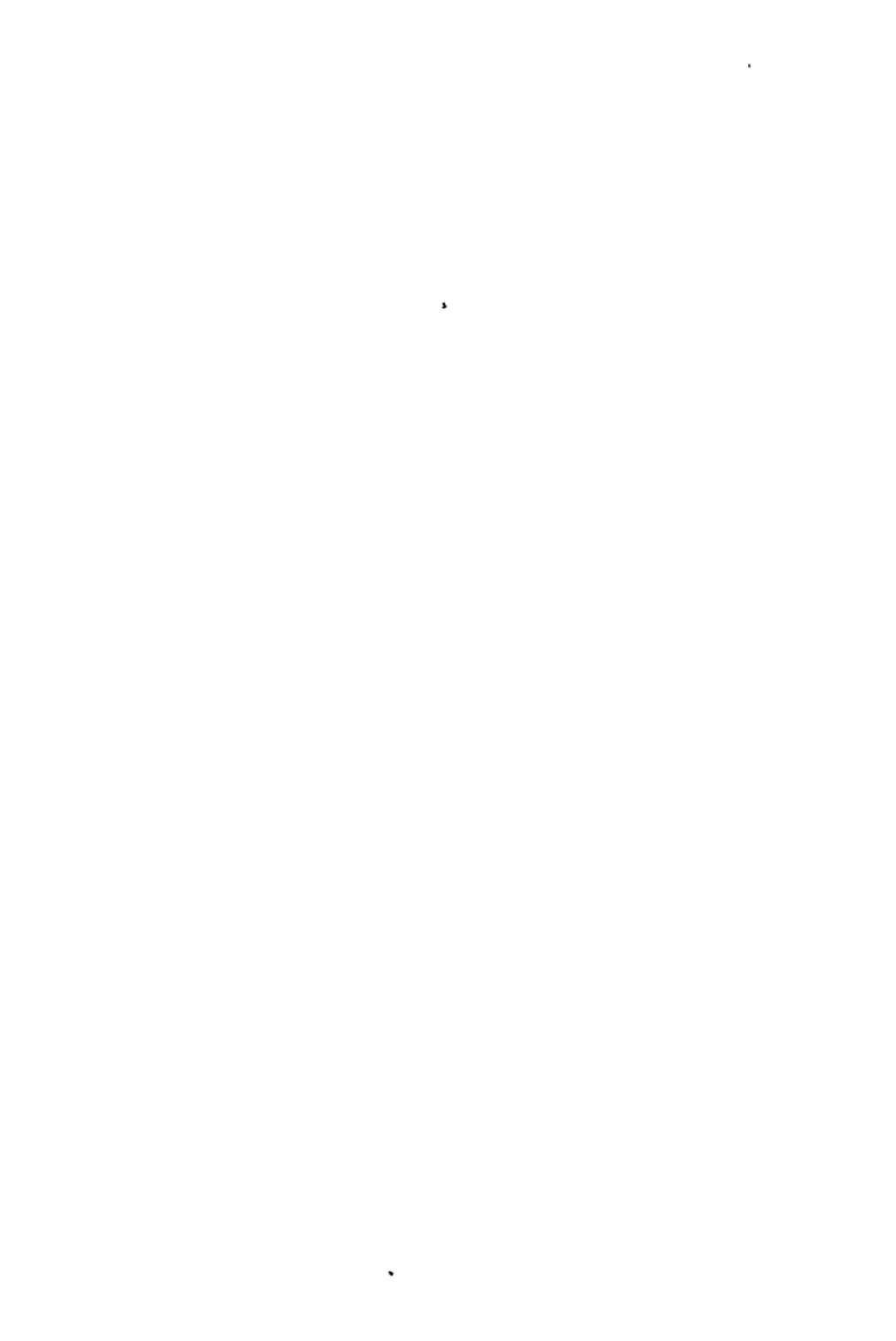
— Положь корку назад. Так! Пожрал и до свиданья. К козе нечего шляться!

— Пушай, — сказала Домна Павловна.

— Нет, Домна Павловна, моя коза! — ответил телеграфист. — Не позволю... Может, он мне козу испортит по злобе. Чего это он там с ней колдует?

Больше Забежкин обедать не приходил.

1922 г.



АПОЛЛОН і ТАМАРА

Жил в одном городе на Большой Проломной улице свободный художник -- тапер Аполлон Семенович, по фамилии Перепенчук.

Фамилия эта -- Перепенчук -- встречается в России не часто, так что читатели могут даже подумать, что речь сейчас идет о Федоре Перепенчуке, о фельдшере из городского приемного покоя, тем более, что оба они жили в одно время и на одной и той же улице, и по характеру не то, чтобы были схожи, но в некотором скептическом отношении к жизни и в образе своих мыслей ихние характеры как-то перекликались.

Но только фельдшер Федор Перепенчук помер значительно пораньше, да и, вернее, не сам помер, не своей то-есть смертью, а он удавился. И случилось это незадолго до IV конгресса.

Об этом газеты своевременно трубили: покончил, дескать, с собой, при исполнении служебного долга, фельдшер из городского приемного покоя, Федор Перепенчук, причина -- разочарование в жизни...

Этакую, правда, нелепость могут досужие репортеришки написать. Разочарование в жизни... Федор Перепенчук и разочарование в жизни... Ах, какие это пустяки! Какая несусветная околесица!

Это правда: поверхностно размышляя, точно, жил, жил человек, задумывался о бессмысленном человеческом существовании и руки на себя наложил. Точно, на первый взгляд -- разочарование. Но тот, кто поближе знал Федора Перепенчука, не сказал бы таких пустяков.

Это к Аполлону Перепенчуку, таперу и музыканту могло бы подойти это слово — разочарование. Жил потому что человек бездумно, наслаждался прелестью своего бытия, а после, от причин исключительно материальных и физических, и от всяких катастроф и коллизий, — ослаб и к жизни, так сказать, потерял вкус. Но не будем забегать вперед, о нем, об Аполлоне Перепенчуке и будет наше повествование.

А вот Федор Перепенчук... Вся сила его личности была в том, что не от бедности, не от разных катастроф он пришел к своим мыслям, нет, мысли его родились путем зрелого, логического размышления значительного человека. О нем не только что рассказ написать, о нем целые тома сочинений написать можно бы. Но только не каждый писатель взялся бы исполнить труд этот. Не каждый бы мог быть биографом и, так сказать, жизнеописателем дел и мыслей этого выдающегося человека. Тут потребовался бы сочинитель величайшего ума и огромной эрудиции, а также и знание мельчайших вещей и вещичек — и о происхождении человека, и о зарождении вселенной, и всякие философские воззрения, теория относительности и другие там разные теории, и где какая звезда расположена, и даже хронология исторических событий — все это потребовалось бы для изучения личности Федора Перепенчука.

И в этом отношении Аполлону Перепенчуку ни в какой мере с ним не сравняться.

Аполлон Перепенчук был прямо-таки перед ним пустяковый человек, дрянцо даже... Не в обиду будет сказано его родственникам. А, впрочем, родственников по прямой линии у него и не осталось, разве что тетка его по отцу, Аделаида Перепенчук. Ну, да и та в изящной словесности, пожалуй, что ни чорта не понимает. Пушай обижается.

Прятелей у него тоже не осталось. Да у таких людей, как Федор и Аполлон Перепенчуки, и не могло быть приятелей. У Федора никогда не было, а Аполлон растерял их, как впал в нищету.

И какой это мог быть приятель у Федора Перепенчука, ежели людей он не любил, презирал, вернее, образ своей жизни вел замкнутый, строгий даже, и с людьми, если и разговаривал, то для того, чтобы механически высказать накопившиеся воззрения, а не за тем, чтобы услышать возгласы одобрения и критику.

Да и кто, какой человек величайшего ума смог бы ответить на его гордые мысли?

— Для чего существует человек? Есть ли в жизни у него назначение и если нет, то не является ли жизнь бессмысленной?

Конечно, какой-нибудь приват-доцент или профессор на государственном золотом обеспечении сказал бы с неприятной легкостью, что человек существует для дальнейшей культуры и для счастья вселенной. Но все это туманно и неясно и для простого человека даже омерзительно. И тогда и всплывают разные удивительные вещи: для чего, скажем, существует жук или кукушка, которые явно никому никакой пользы не приносят, а тем более, для дальнейшей культуры, и в какой мере жизнь человека важнее жизни кукушки, птицы, которая могла бы и не жить, и мир от этого бы не изменился.

Но тут нужно гениальное перо и огромные знания, чтобы хоть отчасти отразить величественные замыслы Федора Перепенчука.

И, может, и не следовало бы тревожить тень замечательного человека, если б в свое время не дошел бы до этих мыслей ученик по духу и дальний его родственник — Аполлон Семенович Перепенчук, тапер, музыкант и свободный художник, проживавший на Большой Проломной улице.

Слово это — тапер — ничуть для человека не унижительно. Правда, некоторые люди и, в том числе, сам Аполлон Семенович Перепенчук, до некоторой степени стеснялись произносить это слово на людях, а в осо-

бенности в дамском обществе, превратно полагая, что дамы от этого конфузятся. И если Аполлон Семенович и называл себя тапером, то, непременно, с прибавлением — артист, свободный художник или еще как-нибудь по-иному.

Но это несправедливо.

Тапер — это значит музыкант, пианист, но пианист, стесненный в материальных обстоятельствах и вынужденный оттого искусством своим забавлять веселящихся людей.

Профессия эта не столь ценна, как, скажем, театр или живопись, однако, и это есть подлинное искусство.

Конечно, существует в этой профессии множество слепых старичков и глухонемых старушек, которые снижают искусство это до обыкновенного ремесла, бессмысленно ударяя по клавишам пальцами, наигрывая разные там польки, полечки и мажоры.

Но под этот разряд ни в какой мере нельзя было отнести Аполлона Семеновича Перепенчука. Истинное призвание, темперамент артиста, лиризм и вдохновение его — все шло вразрез с обычным пониманием ремесла тапера.

Был при этом Аполлон Семенович Перепенчук в достаточной мере красив и даже изыскан. От лица его веяло вдохновением и необыкновенным благородством. И всегда гордо закусенная нижняя губа и надменный профиль артиста — делали фигуру его похожей на изваяние.

Даже кадык, простой, обыкновеннейший кадык или, как он еще иначе называется — адамово яблоко, то, что у других людей было омерзительно и вызывало насмешки, у него, у Аполлона Перепенчука, при постоянно гордо закинутой голове — выглядело благородно и даже напоминало что-то греческое.

А ниспадающие волосы! А бархатная блуза! А темно-зеленый до пояса галстук! Господи, твоя воля! Необыкновенной, необыкновеннейшей красотой наделен был человек.

А те моменты, когда он появлялся на бале своей стремительной походкой и статуей замирал в дверях, как бы окидывая все общество надменным взглядом... Да, неотразимейший был человек. Не одна женщина лила по нем обильные слезы. А как сердито сторонились его мужчины! Как прятали от него жен под предлогом, что неловко, дескать, жене государственного, скажем, чиновника трепаться с каким-то таперишкой.

А то незабываемое событие, когда старший делопроизводитель Казенной Палаты получил анонимное письмо с объяснением, что жена его состоит в нежных отношениях и в предосудительной связи с Аполлоном Перепенчуком!.. Та уморительная сцена, когда делопроизводитель этот два часа караулил на улице Аполлона Семеновича, чтобы помять ему бока, и по ошибке введенный в заблуждение длинными волосами, избил секретаря городской управы...

Ах, смешные были дела! И что всего смешнее, что все скандалы, записочки и дамские слезы не имели под собой никакой почвы. Имея счастливую внешность ловеласа, романтика и разорителя чужих семей, Аполлон Семенович Перепенчук был, напротив того, необыкновенно робкий и тихий человек.

Он даже чуждался женщин, сторонился их, считая, что настоящий, истинный артист не должен связываться ничем своей жизни...

Правда, женщины писали ему записки и письма, где назначали ему тайные свидания и называли его ласкательными и уменьшительными именами, но он был непоколебим.

Записочки и письма он бережно хранил в шкатулке, в свободное время разбирая их, нумеруя и связывая по пачкам. Но жил уединенно и даже замкнуто. И всем знакомым своим при случае любил сказать: „Искусство — это выше всего“.

А в искусстве он был не последним. Конечно, существуют такие виртуозы, которые на одних лишь черных клавишах могут исполнять разные мотивы, до этого

Аполлону Перепенчуку было далеко, однако, он имел-таки собственную композицию -- вальс „Нахлынувшие на меня мечты“...

Вальс этот он весьма успешно исполнял при огромном стечении публики в стенах Купеческого Собрания.

Это было в тот год, о котором пойдет речь, год наибольшей его славы и известности. К этому счастливому времени относится и другое его сочинение, — неоконченная „Фантази реаль“, написанная в мажорных тонах, что не исключало в ней очаровательной лирики. Эта „Фантази реаль“ посвящалась некоей Тамаре Омельченко, той самой девице, что сыграла такую решающую и роковую роль в жизни Аполлона Семеновича Перепенчука.

3

Но тут автор должен объясниться с читателями.

Автор уверяет дорогих читателей, что он ни в какой мере не будет извращать событий, восстанавливая их, напротив того, именно так, как они и проистекали, и сохраняя при этом самые мельчайшие подробности, как, например: внешность героев, образ их мыслей или даже сентиментальные мотивы, которые так не по душе самому автору.

Автор заверяет дорогих читателей, что с необыкновенным прискорбием и даже с болезненным напряжением он вспоминает сентиментальные сцены, о которых он должен рассказать, те сцены, когда, например, героиня плачет над портретом, или, когда та же героиня зашивает порванную гимнастерку Аполлону Перепенчуку, или, когда, наконец, тетушка Аделаида Перепенчук объявляет о распродаже гардероба Аполлона Семеновича.

Все это идет вразрез со вкусом автора, но все это делается ради истины. Ради истины автор сохраняет даже подлинные имена героев. Пусть читатель не думает, что автор из эстетических соображений назвал своих героев столь редкими, исключительными [!] именами —

Тамара и Аполлон. Нет. Именно так они и прозывались. И это, впрочем, ничуть не удивительно. Автору доподлинно известно, что все девицы в семнадцать и в восемнадцать лет на Большой Проломной улице прозывались именно Тамарами или Иринами.

А произошло такое исключительное событие по причинам достаточно уважительным. Семнадцать лет назад стоял здесь полк каких-то гусар. И такой это был замечательный полк, такие красавцы все были эти гусары, и так они воздействовали на горожан с эстетической стороны, что все младенцы женского пола, родившиеся в то время, названы были, с легкой руки супруги начальника губернии. Тамарами или Иринами.

Так вот, в тот счастливый, полный головокружительного успеха год, Аполлон Семенович Перепенчук встретил впервые и нежно полюбил девицу Тамару Омельченко.

Было ей тогда неполных восемнадцать лет. Была она не то чтобы красавица, а была она лучше красавицы — такая у ней была во всем благородная закругленность форм, такая плывущая поступь и такое очарование нежной юности. Все мужчины, проходящие мимо, будь то на улице или даже в обществе, называли ее — булочкой, пончиком или пампушкой.

В тот год она тоже полюбила Аполлона Семеновича Перепенчука.

Они встретились на балу в стенах клуба Купеческого Собрания. Это было в начале Европейской всемирной войны. Ее поразил вид его, необыкновенно благородный, с гордо закусенной нижней губой. Он был восхищен ее нетронутой свежестью.

В тот вечер он был в особенном ударе. Он бил по роялю со всей силой своего вдохновения так, что дежурный старшина пришел попросить его играть потише, оправдываясь тем, что действительные члены клуба обижаются.

В этот момент Аполлон Перепенчук понял, какой он, в сущности, незначительный еще и мизерный человек.

Он, в силу своей профессии, прикрепленный к музыкальному инструменту, не сможет даже подойти к любимой девушке. И, раздумывая так, он выражал звуками всю свою тоску и отчаяние несвободного человека.

Она кружилась в вальсах и мазурках со многими представительными мужчинами, но глаза ее все время останавливались на вдохновенном лице Аполлона Перепенчука.

И в конце вечера, преодолевая девичий стыд, она сама подошла к нему, попросив сыграть что-нибудь из его любимых мотивов. Он, сыграв вальс „Нахлынувшие на меня мечты“.

Этот вальс решил дело. Она, охваченная трепетом первого чувства, взяла его руки и прижала к своим губам.

Злобная молва о новом марьяже Аполлона Перепенчука тотчас охватила все здание Купеческого клуба. Никто не старался скрыть своего любопытства. Мимо их фланировали люди, подсмеиваясь и хихикая. Даже те, кто одевался уже внизу, сбросили свои шубы и снова поднялись наверх, чтобы самим воочию убедиться в правильности пикантных слухов. Так началась эта любовь.

Аполлон Перепенчук и Тамара стали встречаться по праздникам на углу Проломной и Кирпичного и, гуляя до вечера, говорили о своей любви и о том замечательном, незабываемом вечере, когда они встретились впервые, вспоминая при этом каждую мелочь, прикрашивая все и восторгаясь друг другом.

Это длилось до осени.

А в тот день, когда Аполлон Семенович Перепенчук, одетый в жакет, с букетом олеандров и с коробкой постного сахара, пришел просить руки Тамары, она, с рассудочностью зрелой женщины, знающей себе цену, отказала ему, не взирая на просьбы своей матери и домочадцев.

— Мамаша, — сказала она, — да, я люблю Аполлона со всей страстью девичьего чувства, но замуж за него

сейчас я не пойду. Когда он будет знаменитым музыкантом, когда слава будет у его ног, я сама приду к нему. И я верю, что это будет скоро. Я верю, что он будет известным, знаменитым человеком, умеющим обеспечить свою жену.

Во время ее реплики Аполлон Перепенчук стоял тут же, впервые низко опустив свою голову.

Весь вечер он плакал у ее ног и, с невыразимой страстью и тоской, целовал ее колени. Но она была настойчива. Она не хотела рисковать, она боялась бедности и необеспеченной жизни, той жизни, которую влачат почти все люди.

Аполлон Перепенчук бросился к себе. Он жил несколько дней в каком-то тумане, в остервенении каком-то, стараясь придумать способ стать знаменитым, прославленным музыкантом. Но то, что раньше казалось ему легким и простым, теперь представлялось необыкновенной трудностью, даже невозможным.

В его уме мелькали разные планы: уехать в другой город, бросить музыку, бросить искусство и искать счастья и славы в другой профессии, на другом поприще, стать, например, отважным авиатором, делающим мертвые петли над родным городом, над кровлей любимой девушки, или, наконец, стать изобретателем, путешественником, хирургом... Но это были все только планы. Аполлон Перепенчук тут же разрушал их, смеясь над своей фантазией.

Он послал в Петербург сочинение свое, вальс „Нахлынувшие на меня мечты“, но неизвестно, что случилось с рукописью: затерялась ли она на почте, или какой-нибудь человек присвоил ее себе, впоследствии выдавая ее за свою композицию — неизвестно. В свет она так и не вышла.

Нынче даже мотив ее позабыт. Разве что тетушка Аделаида Перепенчук сохранила его в своей памяти. Она так любила напевать этот вальс!

К этому времени относится и другое сочинение Аполлона Перепенчука — неоконченная „Фантази реаль“, не-

оконченная не в силу творческой беспомощности; она была не кончена, ибо новый удар сразил беднягу.

Аполлон Семенович был призван в ряды армии, как ратник второго разряда, могущий нести службу в тылу действующих войск.

То, что в фантазиях своих он думал: уехать, искать счастья на стороне, теперь исполнилось.

В декабре шестнадцатого года Аполлон Перепенчук пришел проститься с любимой девушкой.

Даже самые циничные люди, самые зачерствелые сердца плакали, глядя на их нежное расставание.

Прощаясь, Аполлон Перепенчук торжественно сказал, что он или совсем не вернется, или вернется прославленным, знаменитым человеком.

4

И вот прошло несколько лет. Четыре слишком года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепенчук уехал в действующую армию.

Огромные изменения произошли за это время. Социальные идеи в значительной мере покачнулись и ниспровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался от сыпняка Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепенчука относится к тому же времени.

Жизнь в городе изменилась, а в общем люди жили попрежнему. Попрежнему и даже с большей силой боролись за право свое — прожить: мошенничали, грабили и плутовали.

И никто за это время не вспомнил Аполлона Семеновича Перепенчука. Разве что Тамара Омельченко, да еще тетушка его, Аделаида Перепенчук. Конечно, может-быть, и еще какая-нибудь девица подумала о нем, но подумала, как о романтическом герое, а не как

о тапере и музыканте. Как о тапере о нем никто не вспоминал и не пожалел. В городе таперов не было, да они были и ненужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными, среди них профессия тапера была вымирающей.

На всех вечерах подвизался теперь маэстро Соломон Беленький с двумя первыми скрипками, контрабасом и виолончелью. На всех вечерах, благотворительных балах, на свадьбах и на крестинах работал с успехом, несомненно, головокружительным, этот неизвестно откуда появившийся человек. Его все полюбили. И верно: никто так, как он, не смог бы вертеть скрипку в руках, переворачивая ее и в паузе ударяя по деке смычком. Мало того, он играл попури из любимейших мотивов, мог исполнять разнообразнейшие танцы и заатлантические танцы, как-то: „Тремутар“ или „Фокстрот“. При этом, несходящая с его лица улыбка и даже некоторое добродушное подмигиванье танцующим окончательно сделали его любимцем веселящейся публики.

Он вытеснил из памяти горожан и в прах растоптал тапера Аполлона Семеновича Перепенчука.

А в тот год, когда Аполлона Перепенчука стала забывать Тамара, и даже тетушка Аделаида Перепенчук, считая племянника своего без вести погибшим, вывесила на воротах записку, объявляющую гражданам о распродаже гардероба Аполлона Перепенчука, как-то: двух пар мало ношенных брюк, бархатной тужурки с темно-зеленым галстуком, пикейного жилета и еще кое-каких вещей, — в тот год он вернулся в родной город.

Он ехал в теплушке с солдатами и, подложив под голову мешок, лежал на нарах всю дорогу. Он казался больным. Он страшно переменялся. Солдатская шинель, рваная, прожженная на спине, армейские ботинки, штаны широкие, цвета защитной материи, хриплый голос — делали его неузнаваемым. Казалось, что это был другой человек.

Даже губа, его гордо закушенная губа была вытянута в ленточку от постоянного общения с кларнетом.

Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было, а была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только два человека из тысячи становятся на ноги, остальные живут, чтобы прожить.

Никогда никому он не рассказывал, как жил эти пять лет и что делал, чтобы вернуться в славе и с почестями.

Единственная вещь — кларнет, который он привез, дала повод людям заподозреть его в том, что славы он искал попрежнему в искусстве. Но ничего неизвестно.

Известно только, что вернулся он не только не знаменитым, — вернулся он больным, голодным даже — иным человеком — с морщинами на лбу, с удлинненным носом, с побелевшими глазами и низко опущенной головой.

Он, как вор, вернулся в дом своей тетушки, как вор, бежал по улицам от вокзала, стараясь, чтоб никто его не увидел. Но его если и видели, то не узнавали. Ничего не осталось в нем старого. Был это другой Аполлон Перепенчук.

Самое возвращение его было ужасно. Новый удар, едва перешагнув он порог, обрушился на его голову. Вещи, его прекрасные вещи: бархатная тужурка, штаны, жакет — погибли безвозвратно. Тетушка, Аделаида Перепенчук, все распродала, вплоть до безопасной бритвы.

С некоторым даже равнодушием и безгливостью выслушал Аполлон Семенович тетушкины рыдания и, не упрекнув ее, только переспросив еще раз о бархатной тужурке, бросился к Тамаре.

Он бежал к ней, задыхаясь и ни о чем не думая, по Большой Проломной. Все псы выбегали ему навстречу и лаяли, пытаясь схватить его за ободранные штаны.

Наконец, еще усилие — ее дом, тамарин дом... И Аполлон Перепенчук стучит кулаком в дверь.

Она, Тамара, встретила его испуганно, стараясь тотчас, сию минуту, понять, что с ним случилось. И глядя на его рваную блузу, на изможденное лицо — поняла.

Он смотрел пристально, пронзительно в ее глаза, пытаясь проникнуть в ее думы, понять. Но ничего не понял.

Так они долго стояли друг перед другом, не проронив ни слова. Потом он встал перед ней на колени и, не зная о чем, тихо заплакал. Она тоже плакала над ним, по-детски всхлипывая и часто сморкаясь.

Наконец, она села в кресло, а Аполлон, опустившись перед ней, бессмысленно лепетал какие-то пустяки. Тамара смотрела на него, но ничего не понимала и ничего не видела, она видела лишь загрязненное его лицо, свалывшиеся волосы и рваную гимнастерку. Ее сердечко, сердечко благоразумной женщины, сжималось. Она принесла нитки и ножницы и, попросив его, не сосчитав за труд, вдеть нитку в иглу, принялась зашивать ему гимнастерку, время от времени укоризненно покачивая головой.

Но тут автор должен сказать, что он не мальчик продолжать описание этой сентиментальной сцены. И, хотя осталось немного, автор переходит к психологии героя, нарочно опустив две-три сентиментальных и интимных подробности, как, например: она расчесывает своим гребнем свалывшиеся его волосы, она обтирает его изможденное лицо полотенцем и прыскает на него „Персидской сиренью“... Автор заявляет, что ему нет дела до этих подробностей, его интересует психология.

Так вот, благодаря этому нежному вниманию со стороны Тамары, Аполлон Перепенчук подумал, что все идет попрежнему, что попрежнему она его любит, и, с криком восторга, он бросился к ней, пытаясь заключить ее в свои объятия.

Но она сказала нахмурившись:

— Любезный Аполлон Семенович, я, кажется, когда-то наговорила вам много лишнего... Надеюсь, вы не приняли мой невинный девичий лепет за чистую монету.

Он не поднимался с колен, с трудом понимая ее слова. Она встала, прошла по комнате и с сердцем промолвила:

— Может-быть, я и виновата перед вами, но вашей женой я не буду.

Аполлон Перепенчук вернулся домой и дома вдруг понял, что ничто теперь не в состоянии вернуть ему прежней жизни, и что прежняя жизнь смешна и наивна. И смешно и наивно было его желание стать великим музыкантом и знаменитым, прославленным человеком. И еще понял: всю свою жизнь он жил не так, как нужно, не то делал и не то говорил... Но как было нужно, он и теперь не знал.

И, ложась спать, он усмехнулся с горечью, как некогда усмехался фельдшер Федор Перепенчук, стараясь, наконец, понять, проникнуть в сущность явлений — для чего человек существует, или существование его червяковое и бессмысленное.

5

В короткое время Аполлон Семенович Перепенчук страшно обеднел. Больше того: это была бедность, даже нищета, человека, потерявшего всякие надежды на улучшение. Правда, он и приехал без ничего, однако, первое время он не хотел и не смел признаться в своей ужасающей бедности.

Теперь он с недоброй усмешкой говорил об этом тетушке своей Аделаиде Перепенчук:

— Я, тетушка, беден, как испанский нищий.

Тетушка, чувствуя свою вину перед ним, старалась его успокоить, утешить, ободрить, говоря, что еще не все потеряно, что его жизнь еще вся впереди, что, вместо проданного темнозеленого галстука, она делает ему очаровательный лиловый из корсажа вечернего своего туалета, и что, наконец, бархатную тужурку за недорого взялся бы сделать знакомый ей дамский портной Рипкин.

Но Аполлон Перепенчук только усмехался.

Он не сделал ни одного шага, ни одной попытки как-нибудь изменить, поставить на прежний лад свою городскую жизнь. Это, впрочем, произошло с тех пор, как он узнал, что в городе на всех вечерах подвизается

теперь маэстро Соломон Беленький. До этого какие-то неясные мечты, ускользающие планы теснились в его возбужденном мозгу.

Маэстро Соломон Беленький и исчезновение бархатной куртки сделали Аполлона Перепенчука безвольным созерцателем.

Он целыми днями лежал теперь в постели, выходя на улицу для того, чтобы найти оброненный окурок папиросы или попросить у прохожего на одну завертку щепоточку махорки. Тетушка Аделаида его кормила.

Иногда он вставал с постели, вынимал из матерчатого футляра завезенный им кларнет и играл на нем. Но в его музыке нельзя было проследить ни мотива, ни даже отдельных музыкальных нот — это был какой-то ужасающий, бесовский рёв животного.

И всякий раз, когда он начинал играть, тетушка Аделаида Перепенчук менялась в лице, вынимала из шкафчика различные банки и баночки со всякими препаратами и нюхательными солями и ложилась в постель глухо стоная.

Аполлон Семенович бросал кларнет и снова искал успокоения в кровати.

Он лежал и проницательно думал, и мысли приходили к нему те же, что некогда тревожили Федора Перепенчука. Иные мысли, по силе и глубине, ничуть не уступали мыслям его значительного однофамильца. Он думал о бессмысленном человеческом существовании, о том, что человек так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка, и о том, что человечество, весь мир, должны изменить свою жизнь. Ему однажды показалось, что, наконец-то, он узнал и понял, как надо жить человеку. Какая-то мысль коснулась его мозга и снова исчезла неоформленная.

Это началось с малого. Аполлон Перепенчук как-то спросил тетушку Аделаиду:

— Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?

— Есть, — сказала тетушка, — непременно.

— Ну, а вот обезьяна, скажем... Обезьяна человекоподобна... Она ничуть не хуже человека. Есть ли, тетушка, у обезьяны душа, как вы полагаете?

— Есть, — сказала тетушка, — непременно.

Аполлон Перепенчук вдруг взволновался. Какая-то мысль поразила его.

— Позвольте тетушка, — сказал он. — Ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собака ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть, и у крысы, и у мухи и у червяка даже...

— Перестань, — сказала тетушка, — не богохульствуй.

— Я не богохульствую, — сказал Аполлон Семенович. — Я, тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую... Значит, у червяка тоже есть душа... А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам... И каждая половина, представте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?

— Отстань, — сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича.

— Позвольте, — закричал Перепенчук. — Нету, значит, никакой души! И у человека нету. Человек это кости и мясо... Он и помирает, как последняя тварь и рождается, как тварь... Только что живет по выдуманному. А ему нужно по-другому жить...

Мыслями своими Аполлон Семенович был потрясен. Ему казалось, что он начал понимать что-то. Он несколько дней кряду ходил по комнате в страшном волнении. А в тот день, когда волнение достигло наивысшего напряжения, тетушка Аделаида принесла письмо на имя Аполлона Семеновича Перепенчука. Это письмо было от Тамары.

Она с жеманностью кокетливой женщины, знающей свои прелести, писала в грустном лирическом тоне о том, что нынче она выходит замуж за некоего иностранного

коммерсанта Глоба, и что, делая этот шаг, она не хочет оставить о себе дурных воспоминаний в памяти Аполлона Перепенчука. Она, дескать, просит его всепокорнейше извинить за все то, что она с ним сделала, она прощения просит, ибо знает, какой смертельный удар она нанесла.

Тихо смеялся Аполлон Перепенчук, читая это письмо. Однако, ее непоколебимая уверенность в том, что он, Аполлон Перепенчук, погибает из-за нее, ошеломила его. И, думая об этом, он вдруг отчетливо понял, что ему ничего не нужно, даже не нужна та, из-за которой он погибает. И еще ясно, окончательно понял, что он погибает, в сущности, не из-за нее, погибает оттого, что он не так жил, как нужно.

И он хотел тотчас пойти к ней и сказать, что не она виновата, а он сам виноват.

Но не пошел.

6

Аполлон Семенович Перепенчук пошел к Тамаре спустя неделю. Это произошло неожиданно. Однажды вечером он тихо оделся и, сказав тетушке Аделаиде, что у него болит голова, и что он хочет поэтому пройтись по городу, вышел.

Он долго и бесцельно бродил по улицам, не думая о том, что пойдет к Тамаре. Необыкновенные думы о бессмысленном существовании не давали ему покоя. Он, сняв фуражку, бродил по улицам, останавливался у темных, деревянных домов, заглядывая в освещенные окна, стараясь, наконец, понять, проникнуть, узнать, как живут люди и в чем их существование. В освещенных окнах он видел за столом мужчин в подтяжках, женщин за самоваром, детей... Иные мужчины играли в карты, иные сидели, не двигаясь, бессмысленно смотря на огонь, женщины мыли чашки или пили и почти все — ели, широко и безвучно открывая рты. И, за двумя рядами стекол, Аполлону Перепенчуку казалось, что он слышит их чавканье.

От дома к дому переходил Аполлон Семенович и вдруг очутился у дома Тамары.

Аполлон Перепенчук прильнул к окну ее комнаты. Тамара лежала на диване и казалась спящей. Вдруг Аполлон Семенович, неожиданно для самого себя, постучал по стеклу пальцами.

Тамара вздрогнула, вскочила, прислушиваясь. Потом подошла к окну, стараясь в темноте узнать, кто стучал. Но не узнала и крикнула: — кто?

Аполлон Перепенчук молчал.

Она выбежала на улицу и, узнав его, повела в комнаты. Она стала сердито говорить, что не для чего ему приходить к ней, что все, наконец, кончено, что неужели ему недостаточно ее письменных извинений...

Аполлон Перепенчук смотрел на ее красивое лицо и думал, что незачем ей говорить о том, что не она виновата, а он виноват, что он не так жил, как нужно — она не поймет и не захочет понять, оттого что в этом у ней была какая-то радость и, может-быть, гордость.

И он хотел уж уходить, но вдруг что-то остановило его. Он долго стоял посреди комнаты, напряженно думая, странное успокоение пришло к нему. И он, оглядев комнату Тамары, бессмысленно улыбаясь, вышел.

Он вышел на улицу, прошел два квартала, надел фуражку. Остановился.

— Что такое?

В тот момент, когда он стоял в ее комнате, мысль какая-то счастливая мелькнула в его уме. Он забыл ее... Какая-то мысль, исход какой-то, от которого на мгновение стало ясно и спокойно.

Аполлон Перепенчук стал вспоминать каждую мелочь, каждое слово. Не уехать ли? Нет... Не постучать ли в письмоводители? Нет... Он забыл.

Тогда он бросился опять к ее дому. Да, конечно, он должен сейчас, сию минуту, проникнуть в ее дом, в комнату ее и там, придя на старое место, вспомнить эту проклятую мысль

Он подошел к двери. Хотел постучать. Но вдруг заметил — дверь открыта. За ним не заперли. Он тихо прошел по коридору, никем не замеченный, и остановился на пороге тамариной комнаты.

Тамара плакала, ничком уткнувшись в подушки. В руке она держала его фотографию, его — Аполлона Перепенчука.

Пусть на этом месте читатель плачет, сколько ему угодно — автору все равно, ему ни холодно, ни жарко. Автор бесстрастно переходит к дальнейшим событиям.

Аполлон Перепенчук посмотрел на Тамару, на карточку в ее руке, на окно, на цветок, на вазочку с пучком сухой травы и вдруг вспомнил.

— Да.

Тамара вскрикнула, увидав его. Он бросился прочь, стуча сапогами. За ним бежал кто-то из кухни.

Аполлон Семенович выбежал на улицу. Пошел быстро по Проломной. Потом побежал. Провалился в рыхлый снег. Упал. Встал. Опять побежал.

— Вспомнил.

Он бежал долго, задыхаясь. Уронил фуражку и, не стараясь ее найти, бросился дальше. В городе было тихо. Ночь. Перепенчук бежал.

И вот уже окраина города. Слобода. Заборы Семафор. Будки. Канава. Полотно.

Аполлон Перепенчук упал. Пополз. И, уткнувшись в рельсы, лег.

— Вот эта мысль.

Он лежал в рыхлом снегу. Сердце его переславало биться. Ему казалось, что он умирает.

Кто-то с фонарем прошел два раза мимо него и, снова вернувшись, пихнул его ногой в бок.

— Ты чего? — сказал мужик с фонарем. — Чего лег?

Перепенчук молчал.

— Чего лег? — с испугом повторил мужик. Фонарь в его руке дрожал.

Аполлон Семенович поднял голову. Сел.

— Люди добрые... Люди добрые... — сказал он.

— Какие люди? — тихо сказал мужик. — Да ты чего задумал-то? Пойдем-козь в будку. Я здешний... Стрелочник...

Мужик взял его под руку и повел в сторожку.

— Люди добрые... Люди добрые... — бормотал Перепенчук.

Вошли в сторожку. Душно. Стол. Лампа. Самовар. За столом сидел мужик в расстегнутой поддёвке. Баба шипцами крошила сахар.

Перепенчук сел на лавку. Зубы его стучали.

— Ты чего лег-то? — спросил опять стрелочник, подмигивая мужику в поддёвке. Не смерти ли захотел? Или рельсину, может, открутить хотел? А?

— А чего он? — спросил мужик в поддёвке. — Лег, что ли, на рельсы?

— Лег — сказал стрелочник. — Я иду с фонарем, а он, курва, лежит, как маленький, уткнувшись харей в самую то-есть рельсину.

— Гм, — сказал мужик в поддёвке, — сволочь какая.

— Подожди, — сказала баба, — не ори на него. Видишь, трясется человек. Не из радости трясется. На-козь чайку, попей.

Аполлон Перепенчук, стуча по стакану зубами, выпил.

— Люди добрые...

— Обожди, — сказал стрелочник, снова подмигивая и для чего-то толкая под бок мужика в поддёвке. — Обождите. Дай-козь, я его спрошу по порядку.

Аполлон Семенович сидел неподвижно.

— Отвечай по порядку, как на анкету, — строго сказал стрелочник. — Фамилия?

— Перепенчук, — сказал Аполлон Семенович.

— Так, — сказал мужик. — Не слыхал.

— Лег от роду?

— Тридцать два.

— Зрелый возраст, — сказал мужик, чему-то радуясь. — А мне пятьдесят первый значит... Возраст все-таки... Безработный?

Безработный?

Стрелочник усмехнулся и снова подмигнул.

— Эта худа,— сказал он.— Ну, а ремесло какое понимаешь? Знаешь ли какое ремесло?

— Нет...

— Эта худа,— сказал стрелочник, покачивая головой.— Как же это, брат, без рукомесла-то жить? Это, я тебе скажу, невысказано худа. Человеку нужно непременно понимать ремесло. Скажем, я— сторож, стрелочник. А теперь, скажем, поперли меня, сокращенье там, или что иное... Я от этого, братишка, не пропаду.— Я сапоги знаю работать. Буду я работать сапоги— рука сломалась— мне и горюшка никакого. Буду-ка я зубами веревки вить. Вот она какое дело. Как же это можно без ремесла. Нипочем не можно. Как же существуешь-то?

— Из дворян,— усмехнулся мужик в поддѣвке,— кровь у них никакая... Жить не могут. В рельсы ткаются.

Аполлон Перепенчук встал и хотел уйти из будки. Сторож не пустил, сказал:

— Сядь. Я тебя сейчас великолепно устрою.

Он подмигнул мужику в поддѣвке и сказал.

— Вася, ты бы его присобачил по своему делу. Дело у тебя тихое, каждый понимать может. Что ж безработному человеку гибнуть?

— Пушай,— сказал мужик, застегивая поддѣвку,— это можно: приходи-ка ты, гражданин, на Благовещенское кладбище. Спроси заведующего. Меня то-есть.

— Да пушай он с тобой пойдет, Вася,— сказала баба.— Мало ли что случится.

— А пушай,— сказал мужик вставая и надевая шапку.— Идем, что ли. Прощайте.

Мужик вышел из будки вместе с Аполлоном Перепенчуком.

7

Аполлон Семенович Перепенчук вошел в третий и последний период своей жизни — он вступил в должность нештатного могильщика. Почти год Аполлон Семено-

вич проработал на Благовещенском кладбище. Он снова чрезвычайно переменился.

Он ходил теперь в желтых обмотках, в полупальто, с медной бляхой на груди — № 3. От спокойного, бездумного лица его веяло тихим блаженством. Все морщины, пятна, угри и веснушки исчезли с его лица. Нос принял прежнюю форму. И только глаза порою пристально и не мигая останавливались на одном предмете, на одной точке этого предмета, ничего больше не видя и не замечая. В такие минуты Аполлон думал, вернее, вспоминал свою жизнь, свой пройденный путь, и тогда спокойное лицо его мрачнело. Но воспоминания эти шли помимо его воли — он не хотел думать и гнал от себя все мысли.

Аполлон Перепенчук всякое утро аккуратно приходил на работу с лопатой в руках и, копая землю, выравнивая стенки могил, проникался восторгом от тишины и прелести новой своей жизни.

В летние дни он, проработав часа два под ряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую еще, только что вырытую землю, и лежал не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь пташки, то просто прислушивался к шуму Благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепенчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только-что вырытая земля — тепла, а запах ее слаще французской пудры и гостинной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить.

Но однажды Аполлон Семенович Перепенчук встретил Тамару под руку с каким-то довольно важного вида иностранцем. Они шли по тропинке Ксении Блаженной и о чем-то беспечно болтали.

Аполлон Перепенчук крался за ними, прячась, как зверь, за могилами и крестами. Парочка долго гуляла по кладбищу, затем, найдя полуразрушенную скамейку, они сели, сжав друг другу руки.

Аполлон Перепенчук бросился прочь.

Но это было только раз. Дальше жизнь опять пошла спокойная и тихая. Дни шли за днями, и ничего не омрачало их тишины. Аполлон Семенович работал, ел, лежал в траве, спал... Иногда он ходил по кладбищу, читал трогательные и аляповатые подписи, присаживался на ту или другую забытую могилу и сидел, не двигаясь и ни о чем не думая.

Девятнадцатого сентября по новому стилю Аполлон Семенович Перепенчук помер от разрыва сердца, работая над одной из могил.

А семнадцатого сентября, т.-е. за два дня до его смерти, от родов скончалась Тамара Глоба, урожденная Омельченко.

Аполлон Семенович Перепенчук об этом так и не узнал.

1923.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

Пишешь, пишешь, а для чего пишешь — неизвестно.

Читатель, небось, усмехнется тут. А деньги, скажет. Деньги-то, скажет, курицын сын, получаешь? До чего, скажет, жиреют люди.

Эх, уважаемый читатель! А что такое деньги? Ну, получишь деньги, ну дров купишь, ну, жене приобретешь какие-нибудь там боты. Только и всего. Нету в деньгах ни душевного успокоения, ни мировой идеи.

А впрочем, если и этот мелкий, корыстный расчет откинуть, то автор бы совсем расплевался бы со всей литературой. Бросил бы писать. И ручку с пером сломал бы к чортовой бабушке.

В самом деле.

Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на французские и американские романы, а русскую, отечественную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этаким стремительный полет фантазии, этаким сюжет, чорт его знает какой.

А где же все это взять?

Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая?

А что до революции, то опять-таки тут запятая. Стремительность тут есть. И есть величественная фантазия. А попробуй ее описать. Скажут — неверно. Неправильно, скажут. Научного, скажут, подхода нет к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая.

А где взять этот подход? Где взять, я спрашиваю, этот научный подход и идеологию, если автор родился

в мелкобуржуазной семье, и если он до сих пор еще не может подавить в себе мещанских корыстных интересов и любви, скажем, к цветам, к занавескам и к мягким креслам?

Эх, уважаемый читатель! Беда как плохо быть русским писателем.

Иностранец, тот напишет — ему как с гуся вода. Он тебе и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетет, и на луну своего героя пошлет в ядре в каком-нибудь...

И ничего.

А попробуй у нас, сунься с этим в литературу. Попробуй, скажем, в ядре нашего инженера Курицына, Бориса Петровича, послать на луну. Засмеют. Оскорбятся. Эва, скажут, наплел, собака!..

Вот и пишешь с полным сознанием своей безнадежности. И утешения никакого нет.

А что слава, то что ж слава? Если о славе думать, то опять-таки, какая слава? Опять-таки неизвестно, как еще обернется мировая всеобщая история, и как земля повернется, так сказать, в геологическом отношении.

Вот автор недавно прочел у немецкого философа, будто вся-то наша жизнь и весь расцвет нашей культуры есть не что иное, как междуледниковый период.

Автор признается: трепет прошел по его телу после прочтения.

В самом деле. Представь себе, читатель... На минуту отойди от своих повседневных забот и представь такую картину: до нас существовала какая-то жизнь и какая-то высокая культура, и после она стерлась. А теперь опять расцвет, и опять совершенно все сотрется. Нас-то, может-быть, это и не заденет, а все равно досадное чувство чего-то проходящего, не вечного и случайного и постоянно меняющегося, заставляет снова и снова подумать совершенно заново о всей нашей жизни.

Ты вот, скажем, рукопись написал, с одной орфографией вконец намучился, не говоря уж про стиль, а, скажем, через пятьсот лет мамонт какой-нибудь на-

ступит ножищей на твою рукопись, ковырнет ее клыком, понюхает и отбросит, как несъедобную дрянь.

Вот и выходит, что ни в чем нет тебе утешенья. Ни в деньгах, ни в славе, ни в почестях. И остается одна сплошная досада на собственную литературу.

А что поделать? Жизнь такая смешная. Скучно как-то существовать на земле.

Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Короเวนка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает что-то руками. Петух ходит.

Ох, скучно как! До чего скучно!

Подходит, скажем, к бабе этаким русый, в роде ходячего растения, мужик. Подойдет он, посмотрит светлыми глазами, в роде стекляшек, — чего это баба делает? Икнет, почешет ногу об ногу, зевнет. „Эх, скажет, спать что ли чай пойти. Скучно чтой-то“... И пойдет спать.

А вы говорите: подайте стремительность фантазии.

Эх, господа, господа товарищи! Да откуда ее взять? Как ее приспособить к этой действительности? Скажите! Сделайте такую милость, такое великое одолжение.

А если в город опять-таки пойти, где светят фонари светлым светом, где граждане в полном сознании своего человеческого величия ходят взад и вперед — опять-таки скучно. И нету стремительности фантазии.

Ну, ходят.

А пойдя, читатель, попробуй, потрудись, пойдя за тем человеком — ерунда выйдет.

Идет, оказывается, человек в долг признаться три рубля денег, или на любовное свидание он идет.

Придет, сядет напротив своей дамы, что-нибудь скажет ей про любовь, а, может, и ничего не скажет, а просто положит руку свою на дамское колено и в глаза посмотрит.

Или придет человек, посидит у хозяина. Выкушает стаканчик чаю, посмотрится в самовар — мол, рожа

какая кривая, усмехнется про себя, на скатерть варенье капнет и уйдет. Шапку напялит на бок и уйдет.

А спроси его, сукинова сына, зачем он приходил, какая в этом мировая идея или польза для человечества — он и сам не знает.

Конечно, в данном случае, в этой скучной картине городской жизни, автор берет людей мелких, ничтожных, себе подобных и отнюдь не государственных деятелей или, скажем, работников просвещения, которые действительно ходят по городу чорт его знает по каким важным общественным делам и обстоятельствам.

Этих людей автор никак не имел в виду, когда говорил про дамские, например, колени или просто, как рожей в самовар смотрятся.

Автор, заранее забегаая вперед, дает эту отповедь зарвавшимся критикам, которые явно из озорничества попытаются уличить автора в искажении провинциальной действительности.

Действительность мы не искажаем. Нам за это денег не платят, уважаемые товарищи.

А впрочем, от всего этого дело никак не изменяется. И такая акварельная картина городской нашей провинциальной жизни остается в неизменности.

Грустно.

Автор вот знал одного такого городского человека. Жил он тихо, как и все почти живут. Пил и ел, и даме своей на колени руки клал, и в очи ей глядел, и вареньем на скатерть капал, и три рубля денег в долг без отдачи занимал.

Об этом человеке автор и напишет свою очень короткую повесть. А, может-быть, эта повесть будет и не о человеке, а о том глупом и ничтожном приключении, за которое человек, в порядке принудительного взыскания, пострадал на двадцать пять рублей.

Фантазией разбавлять этот случай? Создавать занимательную марьяжную интрижку вокруг его? Нет! Пушай французы про это пишут, а мы потихоньку, а мы помаленьку, мы вровень с русской действительностью.

А веселого читателя, который ищет бойкий и стремительный полет фантазии и который ждет пикантных подробностей и происшествий, автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам.

2

Эта короткая повесть начинается с полного и подробного описания всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

По профессии своей Котофеев был музыкант. Он играл в симфоническом оркестре на музыкальном треугольнике.

Может-быть, и существует особое, специальное название этого инструмента — автор не знает, во всяком случае, читателю, наверное, приходилось видеть в самой глубине оркестра вправо — сутулого какого-нибудь человека с несколько отвисшей челюстью, перед небольшим железным треугольником. Человек этот меланхолически позвякивает в свой нехитрый инструмент в нужных местах. Обычно дирижер подмигивает для этой цели правым глазом.

Странные и удивительные бывают профессии.

Такие бывают профессии, что ужас берет, как это человек до них доходит. Как это, скажем, человек додумался по канату ходить или носом свистеть, или позвякивать в треугольник.

Но автор не смеется над своим героем. Нет. Борис Иванович Котофеев был человек решительно не плохой, неглупый и со средним образованием.

Жил Борис Иванович не в самом городе, а жил он в предместье, так сказать, на лоне природы.

Природа была не ахти какая замечательная, однако — небольшие сады у каждого дома, трава, и канавы, и деревянные скамейки, усыпанные шелухой подсолнухов, — все это делало вид привлекательным и приятным.

Весной же было здесь совершенно очаровательно.

Борис Иванович жил на Заднем проспекте у Лукерьи Блохиной.

Представьте себе, читатель, небольшой, деревянный, желтой окраски дом, низенький, шаткий забор, широкие желтоватые кривые ворота. Двор. На дворе по правую руку небольшой сарай. Грабля с поломанными зубьями, стоящая здесь со времен Екатерины. Колесо от телеги. Камень посреди двора. Крыльцо с оторванной нижней ступенькой.

А войдешь на крыльцо — дверь, обитая рогожей. Сенцы этакие, небольшие, полутемные, с зеленой бочкой в углу. На бочке досточка. На досточке ковшик.

Ватер с тонкой, в три доски, дверью. На двери деревянная вертушечка для затвора. Небольшая стекляшка вместо окна. Паутинка на ней. Жирноватый паук посреде.

Ах, знакомая, сладкая сердцу картина.

Все это было как-то прелестно. Прелестно тихой, скучной, безмятежной жизнью. И оторванная даже ступенька у крыльца, несмотря на свой невыносимо скучный вид — и теперь мысленно приводит автора в тихое созерцательное настроение.

А Борис Иванович всякий раз, вступая на крыльцо, отплевывался с омерзением в сторону и покачивал головой, глядя на обломанную корявую ступеньку.

Семь лет назад Борис Иванович Котофеев впервые вступил на крыльцо, впервые перешагнул порог этого дома и впервые произнес робким голосом: — „Не здесь ли, между прочим, сдается комната?“.

Комната сдавалась именно здесь. И именно здесь Борис Иванович остался на всю жизнь.

Он женился на своей хозяйке, на Лукерье Петровне Блохиной. И стал полновластным хозяином всего этого имения.

И колесо, и сарай, и грабля, и камень — все стало его неотъемлемой собственностью.

Лукерья Петровна с беспокойной усмешкой глядела на то, как Борис Иванович становился всего этого хозяином.

И под сердитую руку она всякий раз не забывала прикрикнуть и одернуть Котофеева, говоря, что сам-то

он человек с ветру, без кола — без двора, осчастливленный ее многими милостями.

Борис Иванович хотя и огорчился, но молчал.

Он полюбил этот дом. И двор с камнем полюбил. Он полюбил жить здесь за эти пятнадцать лет.

Вот, бывают такие люди, о которых можно в десять минут рассказать всю ихнюю жизнь, всю обстановку жизни, от первого бессмысленного крика до последних дней.

Автор попробует это сделать. Автор попробует очень коротко, в десять минут, но все-таки со всеми подробностями, рассказать о всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

А, впрочем, и рассказывать нечего.

Тихо и покойно текла его жизнь.

И если всю эту жизнь разбить на какие-то пункты, на какие-то этапы, от которых отходила жизнь, то вся жизнь распадется на пять или шесть небольших периодов.

Вот, Борис Иванович, окончив реальное училище, вступает в жизнь. Ему 20 лет. У него миленькие усы. И никаких особых планов. Он пытается стать инженером. Потом врачом по женским и детским болезням. Потом, проведя звонок в квартире, — электротехником. Случайная встреча с приятелем — музыкантом из городского театра — решает карьеру. Борис Иванович Котофеев становится музыкантом.

Вот ему 25 лет. Он опытный музыкант. Он уже не вливается глазами в дирижера, как раньше, боясь ударить в инструмент не во-время. Он уже бьет по своему треугольнику слегка небрежно, с полузакрытыми глазами, как опытный и нужный музыкант. Он уже чувствует свое место в жизни. Он как-будто бы нашел призвание и цель своего существования.

Он уже живет полной грудью. Гуляет по бульвару. Посещает танцевальные балы. И там иногда бабочкой порхает по залу с голубым распорядительским бантом на груди.

Он влюбляется в миловидную хористочку. Он называет ее самыми сладкими и нежными именами. Назначает свидания в самых романтических местах города. И даже желает на ней жениться. Он говорит ей об этом высоким и тонким голосом. Но она, считая слишком мизерным его жалование, уходит от него ко второй скрипке.

Тогда в 30 лет Борис Иванович сменяет свою жизнь провинциального льва и отчаянного любовника на более спокойное существование.

Он переезжает за город и вскоре женится на своей квартирной хозяйке. И с ней живет семь лет.

И вот, если теперь, в 37 лет, закрыть глаза и подумать о прошлом, то все: и женитьба, и революция, и музыка, и голубой распорядительский бант на груди — все это стерлось, все слилось в одну сплошную, ровную линию.

Даже любовное событие стерлось и превратилось в какое-то досадное воспоминание, в скучный анекдот о том, как хористка просила подарить ей сумочку из лакированной кожи, и о том, как Борис Иванович, откладывая по рублю, собирал нужную сумму.

Так жил человек. Так жил он до 37 лет, вплоть до того момента, до того исключительного происшествия в его жизни, за которое он был по суду оштрафован на двадцать пять рублей. Вплоть до этого самого приключения, ради которого автор, собственно, и рискнул испортить несколько листов бумаги и осушить небольшой пузырек чернил.

3

Итак, Борис Иванович Котофеев прожил до 37 лет. Очень вероятно, что он еще будет жить очень долго. Человек он очень здоровый, крепкий и с широкой костью. А что прихрамывает Борис Иванович слегка, чуть заметно, то это еще при царском режиме он стер свою ногу.

Однако, нога жить не мешала, и жил Борис Иванович ровно и хорошо. И все было бы и впредь хорошо и отлично и никогда бы не случилось скандального происшествия, если б не одно обстоятельство, подтачивающее все время спокойную жизнь Бориса Ивановича.

Автор говорит здесь о той неотвязчивой мысли, о той мысли, которую уже много лет обдумывал Борис Иванович с некоторой горькой и непримиримой усмешкой. Он думал о той случайности и нетвердости в жизни, на которых основано все наше существование.

Борис Иванович раз даже завел об этом речь в кругу своих близких друзей. Это было на его собственных именинах.

— Странно все, господа, — сказал Борис Иванович. — Все как-то, знаете, случайно в нашей жизни. Все, я говорю, на случае основано... Женился я, скажем, на Луше... Я не к тому говорю, что недоволен или что-нибудь вообще. Но случайно же это. Мог бы я вовсе не здесь комнату снять. Я случайно на эту улицу зашел... Значит, что же это выходит? Случай?

Друзья криво усмехались, ожидая семейного столкновения. Однако, столкновения не последовало. Лукерья Петровна, соблюдая настоящий тон, вышла только демонстративно из комнаты, выдула ковшик холодной воды и снова вернулась к столу свеженькая и веселенькая. Зато ночью устроила столь грандиозный скандал, что сбежавшиеся соседи пытались вызвать пожарную часть для ликвидации семейных устоев.

Однако, и после скандала Борис Иванович, лежа с открытыми глазами на диване, продолжал обдумывать свою мысль. Он думал о том, что не только его женитьба, но, может, и игра на треугольнике и вообще все его призвания — просто случай, простое стечение житейских обстоятельств.

„А если случай, — думал Борис Иванович, — значит, все на свете непрочно. Значит, нету какой-то твердости. Значит, все завтра же может измениться“.

У автора нет охоты доказывать правильность мыслей Бориса Ивановича. Но на первый взгляд действительно все в нашей уважаемой жизни кажется неправильным и случайным. И случайное наше рождение, и случайное существование, составленное из глупых и случайных обстоятельств, и случайная смерть. Все это заставляет и впрямь подумать о том, что все нелепо, о том, что на земле нет одного строгого, твердого закона.

А в самом деле, какой может быть строгий закон, когда все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей — от бога и любви — до мизернейших человеческих измышлений.

Скажем, многие поколения и даже целые народы воспитывались на том, что любовь существует, и бог существует и, скажем, царь есть какое-то необъяснимое явление.

А теперь мало-мальски способный философ с необычайной легкостью, одним росчерком пера, доказывает обратное.

Или наука. Уж тут-то все казалось ужасно убедительным и верным, а оглянитесь назад — все неверно и все по временам меняется от вращения земли до какой-нибудь там теории относительности.

Автор — человек без высшего образования, в точных хронологических датах и собственных именах туговато разбирается и поэтому не берется впустую доказывать. Но уж ты, читатель, поверь — тут уж все без обмана.

Так вот и все в нашей жизни, даже в нашей худой — до слез скучной — жизни и то все случайно, нетвердо и непостоянно.

Об этом Борис Иванович Котофеев вряд ли, конечно, думал. Был он хотя и не глупый человек, со средним образованием, но не настолько уж развит, чтобы обобщать с научной точки зрения.

И все-таки, в каком-то мелком плане, в повседневном своем существовании он и то заметил какой-то хитрый подход в жизни. И даже стал с некоторых пор побаиваться за твердость своей судьбы.

И это сомнение запало ему в душу еще в молодые годы.

Но это сомнение теперь разгорелось в пламя.

Однажды, возвращаясь домой по Заднему проспекту, Борис Иванович Котофеев столкнулся с какой-то темной фигурой в шляпе.

Фигура остановилась перед Борисом Ивановичем и худым голосом попросила об одолжении.

Борис Иванович сунул руку в карман, вынул какую-то мелочишку и подал нищему. И вдруг посмотрел на него.

А тот сконфузился и прикрыл рукой свое горло, будто извиняясь, что на горле нет ни воротничка, ни галстука. Потом, тем же худым голосом, нищий сказал, что он — бывший помещик, расстрелянный за политические убеждения, и что когда-то он и сам горстями подавал нищим серебро, а теперь, в силу течения новой демократической жизни, он принужден и сам просить об одолжении.

Борис Иванович принялся расспрашивать нищего, интересуясь подробностями его прошлой жизни.

— Да что ж, — сказал нищий, польщенный вниманием. — Был я ужасно какой богатый помещик, деньги куры у меня не клевали, а теперь, как видите, в нищете, в худобе и жрать нечего. Все, гражданин хороший, меняется в жизни в свое время.

Дав нищему еще монету, Борис Иванович тихонько пошел к дому. Ему не было жаль нищего, но какое-то неясное беспокойство овладело им.

— Все в жизни меняется в свое время, — бормотал тобрейший Борис Иванович, возвращаясь домой.

Дома Борис Иванович рассказал своей жене, Лукерье Петровне, об этой встрече, при чем несколько сгустил краски и прибавил от себя кой-какие подробности, например, как этот помещик кидался золотом в нищих, и даже разбивал им носы тяжеловесными монетами.

— Ну, и что ж, — сказала жена. — Ну, жил хорошо, теперь — плохо. В этом нет ничего ужасно удивитель-

ного. Вот недалеко ходить—сосед почти наш тоже чересчур бедствует.

И Лукерья Петровна стала рассказывать, как бывший учитель чистописания, Иван Семеныч Кушаков, остался не при чем в своей жизни. А жил тоже хорошо и даже сигары курил.

Котофеев как-то близко принял к сердцу и этого учителя. Он стал расспрашивать жену, почему и отчего тот впал в бедность.

Борис Иванович захотел даже увидеть этого учителя. Захотел немедленно принять самое горячее участие в его плохой жизни. И он стал просить свою жену, Лукерью Петровну, чтобы та сходила поскорее за учителем, привела бы его и напоила чаем.

Для порядку побранившись и назвав мужа „вахлаком“, Лукерья Петровна все же накинула косынку и побежала за учителем, съедаемая крайним любопытством.

Учитель, Иван Семенович Кушаков, пришел почти немедленно.

Это был седоватый, сухонький старичок в длинном худом сюртуке, без жилета. Грязная рубашка без воротника выпирала на груди комком. И медная, желтая, ужасно яркая запонка выдавалась как-то далеко вперед своей пупочкой.

Седоватая щетина на щеках учителя чистописания была давно не брита и росла кустиками.

Учитель вошел в комнату, потирая руки и на ходу прожевывая что-то. Он степенно, но почти весело, поклонился Котофееву и зачем-то подмигнул ему глазом.

Потом присел к столу и, пододвинув тарелку с ситником с изюмом, принялся жевать, тихо усмехаясь себе под нос.

Когда учитель поел, Борис Иванович с жадным любопытством стал расспрашивать о прежней его жизни и о том, как и почему он так опустился и ходит без воротничка, в грязной рубашке и с одной голой запонкой.

Учитель, потирая руки и весело, но ехидно, подмигивая, стал говорить, что он, действительно, не плохо

жил и даже сигары курил, но с изменением потребностей в чистописании и по декрету народных комиссаров предмет этот был исключен из программы.

— А я с этим свыкся уж, — сказал учитель, — привык. И на жизнь не жалею. А что ситный скушал, то в силу привычки, а вовсе не от голоду.

Лукерья Петровна, сложив руки на переднике, хохотала, предполагая, что учитель уже начинает завираться и сейчас завернется окончательно. Она с нескрываемым любопытством глядела на учителя, ожидая от него чего-то необыкновенного.

А Борис Иванович, покачивая головой, бормотал что-то, слушая учителя.

— Что ж, — сказал учитель, снова без нужды усмехаясь, — так и все в нашей жизни меняется. Сегодня, скажем, отменили чистописание, завтра рисование, а там, глядишь, и до вас достучаются.

— Ну, уж вы того, — сказал Котофеев, — слегка задохнувшись. — Как же до меня-то могут достучаться... Если я в искусстве... Если я на треугольнике играю.

— Ну и что ж, — сказал учитель презрительно, — наука и техника нынче движутся вперед. Вот изобретут вам электрический этот самый инструмент — и крышка... И достучались...

Котофеев, снова слегка задохнувшись, взглянул на жену.

— И очень просто, — сказала жена, — если в особенности движутся наука и техника...

Борис Иванович вдруг встал и начал нервно ходить по комнате.

— Ну и что ж, ну и пушай, — сказал он, — ну и пушай!

— Тебе пушай, — сказала жена, — а мне отдувайся. Мне же, дура, на шею сядешь, пилат-мученик.

Учитель завозился на стуле и примиряюще сказал:

— Так и все: сегодня чистописание, завтра рисование... И живет, скажем, человек, думает, мол, все прочно. Но, между прочим, все меняется в нашей жизни. Все нетвердо, милостивые мои государи.

Борис Иванович подошел к учителю, попросился с ним и, попросив его зайти хотя бы завтра к обеду, вызвался проводить гостя до дверей.

Учитель встал, поклонился и, весело потирая руки, снова сказал, выйдя в сени:

— Уж будьте покойны, молодой человек, сегодня чистописание, завтра рисование, а там и по вас хлопнут.

Борис Иванович закрыл за учителем двери и, пройдя в свою спальню, сел на кровать, охватив руками свои колени.

Лукерья Петровна, в стоптанных войлочных туфлях, вошла в комнату и стала прибираться к ночи.

— Сегодня чистописание, завтра рисование, — бормотал Борис Иванович, слегка покачиваясь на постели. — Так и вся наша жизнь.

Лукерья Петровна оглянулась на мужа, молча и с остервенением плюнула на пол и стала распутывать свалывшиеся за день свои волосы, стряхивая с них солому и щепки.

Борис Иванович посмотрел на свою жену и меланхолическим голосом вдруг сказал:

— А что, Луша, а вдруг да и вправду изобретут с электричеством, треугольник то-есть. Скажем, кнопка небольшая на попитре... Дирижер тыкнет пальцем, и она звонит...

— И очень даже просто, — сказала Лукерья Петровна. — Очень просто... Ох, сядешь ты мне на шею!. Чувствую, сядешь...

Борис Иванович пересел с кровати на стул и задумался.

— Горюешь, небось? — сказала Лукерья Петровна. — Задумался? За ум схватился... Не было бы у тебя жены, да дома, ну куда бы ты, голоштанник, делся? Ну, например, попрут тебя с оркестру?

— Не в том, Луша, дело, что попрут, — сказал Борис Иванович. — А в том, что превратно все. Случай... Почему-то я, Луша, играю на треугольнике. И вообще... Если игру скинуть с жизни, как же жить тогда? Чем это, кроме того, я прикреплен?

Лукерья Петровна, лежа в постели, слушала мужа, тщетно стараясь разгадать смысл его слов. И предполагая в них личное оскорбление и претензию на ее недвижимое имущество, снова сказала:

— Ох, сядешь мне на шею! Сядешь, пилат-мученик, сукин-кот.

— Не сяду, — сказал Котофеев.

И, снова задохнувшись, он встал со стула и принялся ходить по комнате.

Страшное волнение охватило его. Рукой проведя по голове, будто стараясь скинуть какие-то неясные мысли, Борис Иванович снова присел на стул.

И сидел долго в неподвижной позе.

Затем, когда дыхание Лукерьи Петровны перешло в легкий, с небольшим свистом, храп, Борис Иванович встал со стула и вышел из комнаты.

И, найдя свою шляпу, Борис Иванович напялил ее на голову и, в какой-то необыкновенной тревоге, вышел на улицу.

4

Было всего десять часов.

Стоял отличный, тихий, августовский вечер.

Котофеев шел по проспекту, широко махая руками.

Странное и неясное волнение его не покидало.

Он дошел, совершенно не заметив того, до вокзала.

Прошел в буфет, выпил бокал пива и, снова задохнувшись и чувствуя, что не хватает дыхания, опять вышел на улицу.

Он шел теперь медленно, уныло опустив голову, думая о чем-то. Но если спросить его, о чем он думал, он не ответил бы — он и сам не знал.

Он шел от вокзала все прямо и на аллее, у городского сада, присел на скамейку и снял шляпу.

Какая-то девица, с широкими бедрами, в короткой юбке и в светлых чулках, прошла мимо Котофеева раз, потом вернулась, потом снова прошла и, наконец, села рядом, взглянув на Котофеева.

Борис Иванович вздрогнул, взглянул на девушку, мотнул головой и быстро пошел прочь.

И вдруг Котофееву все показалось ужасно отвратительным и невыносимым. И вся жизнь — скучной и глупой.

— И для чего это я жил... — бормотал Борис Иванович. — Приду завтра — изобретен, скажут. Уже, скажут, изобретен... Изобретен, скажут.

Сильный озноб охватил все тело Бориса Ивановича. Он почти бегом пошел вперед и, дойдя до церковной ограды, остановился. Потом, пошарив рукой калитку, открыл ее и вошел в ограду.

Прохладный воздух, несколько тихих берез, каменные плиты могил как-то сразу успокоили Котофеева. Он присел на одну из плит и задумался. Потом сказал вслух:

— Сегодня чистописание, завтра рисование. Так и вся наша жизнь.

Борис Иванович закурил папироску и стал обдумывать, как бы он начал жить в случае чего-либо.

— Прожить-то, проживу, — бормотал Борис Иванович, — а к Луше не пойду. Лучше народу в ножки поклонюсь. Вот, скажу, человек, скажу, гибнет, граждане. Не оставьте в несчастьи...

Борис Иванович вздрогнул и встал. Снова дрожь и озноб охватили его тело.

И вдруг Борис Ивановичу показалось, что электрический треугольник давным-давно изобретен и только держится в тайне, в страшном секрете, с тем чтобы сразу, одним ударом, свалить его.

Борис Иванович в какой-то тоске почти выбежал из ограды на улицу и пошел быстро, шаркая ногами.

На улице было тихо.

Несколько запоздалых прохожих спешили по своим домам.

Борис Иванович постоял на углу, потом, почти не отдавая отчета в том, что он делает, подошел к какому-то прохожему и, сняв шляпу, глухим голосом сказал:

— Гражданин... Милости прошу... Может, человек погибает в эту минуту...

Прохожий с испугом взглянул на Котофеева и быстро пошел прочь.

— А-а, — закричал Борис Иванович, опускаясь на деревянный тротуар. — Граждане!.. Милости прошу... На мое несчастье... На мою беду...

Несколько прохожих окружило Бориса Ивановича, разглядывая его с испугом и изумлением.

Постовой милиционер подошел, тревожно похлопывая рукой по кобуре револьвера, и подергал Бориса Ивановича за плечо.

— Пьяный это, — с удовольствием сказал кто-то в толпе. — Нализался, чорт, в будень день. Ах, нет на них закону!

Толпа любопытных окружила Котофеева. Кое-кто из сердобольных пытался поднять его на ноги. Борис Иванович рванулся от них и отскочил в сторону. Толпа расступилась. Борис Иванович растерянно посмотрел по сторонам, ахнул, и вдруг молча побежал в сторону.

— Крой его, робя! Хватай! — завыл кто-то истошным голосом.

Милиционер резко и пронзительно свистнул. И трель свистка всколыхнула всю улицу.

Борис Иванович, не оглядываясь, бежал ровным, быстрым ходом, опустив голову в плечи.

Сзади, дико улюлюкая и хлопая ногами по грязи, бежали люди.

Борис Иванович метнулся за угол и, добежав до церковной ограды, перепрыгнул ее.

— Здеся! — выл тот же голос. — Сюдый, братцы! Сюдый, загоняй!.. Крой...

Борис Иванович вбежал на паперть, тихо ахнул, оглянувшись назад, и налег на дверь.

Дверь поддалась и со скрипом на ржавых петлях открылась.

Борис Иванович вбежал внутрь.

Одну секунду он постоял в неподвижности, потом, охватив голову руками, по шатким каким-то сухим и скрипучим ступенькам, бросился наверх.

— Здесь! — орал доброхотный следователь. — Бери его, братцы! Крой все по чем попало...

Сотня прохожих и обывателей ринулась через ограду и ворвалась в церковь. Было темно.

Тогда кто-то чиркнул спичкой и зажег восковой огарок на огромном подсвечнике.

Голые высокие стены и жалкая церковная утварь осветились вдруг желтым, скудным мигающим светом.

Бориса Ивановича в церкви не было.

И когда толпа, толкаясь и гудя, ринулась в каком-то страхе назад, сверху, с колокольни, раздался вдруг гудящий звон набата.

Сначала редкие удары, потом все чаще и чаще, поплыли в тихом ночном воздухе.

Это Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей.

Это продолжалось минуту.

Затем снова завыл знакомый голос:

— Здесь! Братцы, неужели же человека выпускать? Крой на колокольню! Хватай бродягу!

Несколько человек бросилось наверх.

Когда Бориса Ивановича выводили из церкви, — огромная толпа полуодетых людей, наряд милиции и пригородная пожарная команда стояли у церковной ограды.

Молча, через толпу, Бориса Ивановича провели под руки и поволокли в штаб милиции.

Борис Иванович был смертельно бледен и дрожал всем телом. А ноги его непослушно волочились по мостовой.

5

Впоследствии, много дней спустя, когда Бориса Ивановича спрашивали, зачем он это все сделал и зачем, главное, полез на колокольню и стал звонить, он пожимал плечами и сердито отмалчивался или же говорил, что он подробностей не помнит. А когда ему на-

поминали об этих подробностях, он конфузливо махал рукой, упрасывая не говорить об этом.

А в ту ночь продержали Бориса Ивановича в милиции до утра и, составив на него неясный и туманный протокол, отпустили домой, взяв подписку о невыезде из города.

В рваном сюртуке, без шляпы, весь поникший и желтый, Борис Иванович вернулся утром домой.

Лукерья Петровна выла в голос и колотила себя по грудям, проклиная день своего рождения и всю свою разнесчастную жизнь с таким человеческим отребьем, как Борис Иванович Котофеев.

А в тот же вечер Борис Иванович, как и всегда, в чистом, опрятном сюртуке, сидел в глубине оркестра и меланхолически позвякивал в свой треугольник.

Был Борис Иванович, как и всегда, чистый и причесанный, и ничто в нем не говорило о том, какую страшную ночь он прожил.

И только две глубокие морщины от носа к губам легли на его лице.

Этих морщин раньше не было.

И не было еще той сутулой посадки, с какой Борис Иванович сидел в оркестре.

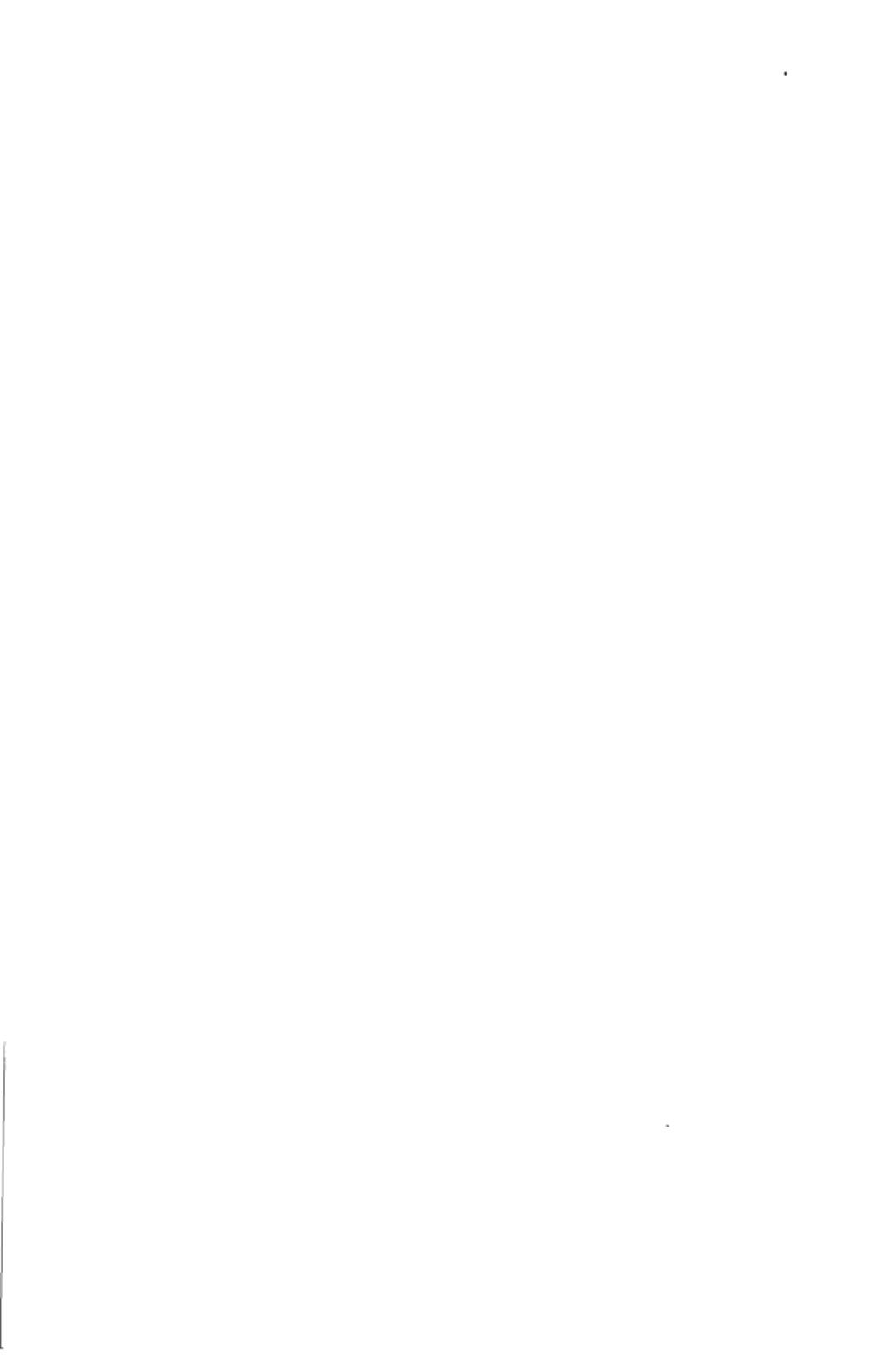
Но все перемелется — мука будет.

Борис Иванович Котофеев жить еще будет долго.

Он, дорогой читатель, и нас с тобой переживет. Будьте покойны.

1925.

О ЧЕМ ПЕЛ СОЛОВЕЙ.



А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади...

Ну, что ж! Пушай смеются.

Одно обидно: не поймут ведь, черти, половину. Да и где ж им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилась!

Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье — все равно бесцельно, все равно не увидит автор этой будущей прекрасной жизни.

Да будет ли она прекрасна — это еще вопрос. Для собственного успокоения автору кажется, что и там много будет ерунды и дряни.

Впрочем, может эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мысли, плюнули с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутали и выдали вместо помершего родственничка какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху...

Конечно, это не без того, — будут случаться такие ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна.

Может-быть, даже денег не будет. Может-быть, все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашнэ в Гостином

дворе... — Возьмите, скажут, у нас, гражданин, отличную шубу. — А ты мимо пройдешь. И сердце не забьется. — Да нет, — скажешь, уважаемые товарищи. На чорта мне сдалась ваша шуба. У меня их шесть.

Ах, чорт! До чего веселой и привлекательной рисуется автору будущая жизнь!

Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счета и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь! Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения! И, например, любовь. Каким, небось, пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство!

Ах ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой сладкой радостью думает о ней автор, даже вчуже, даже без малейшей гарантии — застать ее. Но вот — любовь.

Об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые и партийные люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, говорят, какая любовь? Нет никакой любви. И никогда и не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, в роде похорон.

Вот с этим автор не может согласиться.

Автор не хочет исповедываться перед случайным читателем и не хочет некоторым особо неприятным автору критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у ней глупое, белое личико, ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор! Какие чувствительные минуты переживал автор, когда, от избытка всевозможных благородных чувств, падал на колени и, как дурак, целовал землю.

Теперь, когда прошло пятнадцать лет, и автор слегка седеет от различных болезней и от жизненных потрясений, и от забот о куске хлеба, когда автор просто не хочет врать и не для чего ему врать, когда, нако-

нец, автор желает увидеть всю жизнь, как она есть, без всякой лжи и украшений, — он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и партийных кругах сильно на этот счет ошибаются.

На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей.

— Это, — скажут, — товарищ, не пример собственная ваша фигура. Что вы, — скажут, — в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, — скажут, — персона не созвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней.

— Видали? Случайно! То-есть, дозвоьте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться?

— Да это как вам угодно, — скажут. — Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, — скажут, — на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают.

Ха!.. Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в „Правде“ о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке.

Это что, не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну и чорт с вами! Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать кроме того несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть.

Итак, любовь.

Пушай об этом изящном чувстве каждый думает, как хочет. Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни, даже, чорт с вами, пушай трамвай впереди, — автор все же остается при своем мнении.

Автор только хочет поделиться с читателем об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять, скажут, мелкие эпизоды? Опять, скажут, мелочи в двухрублевой книге? Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе?

Автор честно и открыто просит:

— Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии.

2

Фу! Трудно до чего писать в литературе!

Пóтом весь изойдешь, покуда продерешься через непроходимые дебри.

И ради чего? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина.

Автору он не сват и не брат. Автор у него в долг не занимал. И идеологией с ним не связан.

Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. И расписывать его сильными красками автору нет охоты. К тому же автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина, Василия Васильевича.

Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора мало замеченные. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам совершенно особенным и, так сказать, субъективным.

Уже Мишка Рундуков — братишка ее, комсомолец, — менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный и задира. Наружностью своей он был этакий белобрысенький и слегка мордастый.

Да о наружности его автору тоже нет охоты распространяться. Возраст у парнишки переходный. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к моменту выхода книги, и там разбирайся — какой это Мишка Рундуков. И откуда у него усы взялись, если у него и усов-то не было в момент описания событий.

Что же касается самой старухи, так сказать мамыши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, ежели мы старушку и вовсе обойдем в своем описании. Тем более, что старушек вообще трудновато художественно описывать. Старушка и старушка. А пес ее разберет, какая это старушка. Да и кому это нужно описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете.

Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные и ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает. Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой Рундуковский домишко. Этакий темненький, в один этаж. На фасаде — номер 22. Повыше на досточке багор нарисован. На предмет пожара. Кому что тащить. Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось, нету!.. Ну да не дело художественной литературы разбираться и обращать на это внимание уездной администрации.

А вся внутренность ихнего домика и, так сказать, вещественное его оформление в смысле мебели, тоже достаточно рельефно вырисовывается в памяти автора... Три комнаты небольшие. Пол кривой. Рояль Беккера. Этакий жуткий рояль. Но играть на нем можно. Кой-какая мебелишка. Диван. Кошка или кот на диване. На подзеркальнике часишки под колпаком. Колпак пыльный. А само зеркало мутное — морду врет... Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет...

Скучно, небось, было бы жить в этих комнатах столичным гражданам!

Скучно, небось, столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешено. И у плиты старуха продукты стряпает. Картошку, например, чистит. Шелуха лентой с под ножа свивается.

Только пушай не думает читатель, что автор описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением.

Нету! Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики, и эти кухни. Заходил. И жил в них. И может и сейчас живет. Ничего в этом нету хорошего, так — жалкая жалость. Ну войдешь в эту кухню и ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в загородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости господи! Противно же мордой в чулок. Ну его к чорту! Такая гадость.

А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелкоте жила такая выдающаяся барышня, такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова.

Автор не слишком-то превозносит человека. Пора же, граждане, наконец, отказаться от бессмысленной к себе гордости! Автор считает, что если каракатица уживается на мокрой плесени, то почему бы и человеку на сыром белье не ужиться.

Все же автору всегда было очень-очень жаль Лизочку Рундукову.

О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить, пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Былинкине. О том, какой это человек. Откуда он взялся. И благонадежен ли он политически. И какое отношение он имеет к уважаемым Рундуковым. И не родственник ли он им.

Нет, он не родственник. Он просто случайно и на время замешался в ихнюю жизнь.

Автор уже предупреждал читателя, что физиономия этого Былинкина ему не слишком запомнилась. Хотя, вместе с тем, автор, закрывая глаза, видит его, как живого.

Этот Былинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутулую, видимо придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Былинкин снашивал внутрь до самых задников.

Что касается образования, то на вид образование было не ниже четырех классов старой гимназии.

Социальное происхождение — неизвестно.

Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся.

А зачем приехал — тоже неясно, Сытнее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и влекли его, так сказать, неведомые дали и приключения? Чорт его душу разберет. Во всякую психологию не влезешь.

Но скорей всего в провинции сытней показалось. Потому первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлеба и на горы всевозможных продуктов.

Но, между прочим, как он кормился — для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты в городе.

Только видимо жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно.

А после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по седьмому разряду плюс за нагрузку.

И к этому моменту Былинкин уже несколько округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова попрежнему часто и развязно моргал глазами.

И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью и имеющего право жить и знающего себе полную цену.

И, действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда в свои неполные тридцать два года.

Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы, или траву, или даже листья.

Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь.

О чем он думал, и какие исключительные идеи осеняли его голову — никому не известно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или, скорей всего, думал, что ему совершенно необходимо переменить квартиру.

И в самом деле: он жил у Волосатова, у дьякона живой церкви, и, в силу своего служебного положения, весьма беспокоился жить у лица, столь политически запачканного.

Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради бога, какой-нибудь новой квартирнки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа.

И, наконец, кто-то, по доброте душевной, сосватал ему небольшую, в две квадратные сажени, комнату. Это было как раз в доме уважаемых Рундуковых.

Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату и завтра с утра выехал, наняв для этой цели водовоза Никиту.

Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин, однако, видимо уязвленный в неясных, но отличных своих чувствах, дьякон страшным образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьяком стоял у окна и громко искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду.

Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала:

— Скатертью дорожка. Камнем в воду. Не задерживаем.

Собравшаяся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать. Не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящной литературе.

3

Комната Былинкину, Василию Васильевичу, была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартирку не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента.

Былинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И проходя мимо беккеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее, и что сам он, Былинкин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, не может переносить лишних мещанских звуков.

Старуха обиженно сказала, что у них сорок лет стоит этот рояльчик, и для Былинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали, тем более, что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте и, может-быть, это у ней основная цель в жизни.

Былинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив, что он говорит это в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказа.

На что старуха, крайне обидевшись, расплакалась и чуть было вовсе не отказала от комнаты, если б не подумала о возможностях вселения со стороны.

Былинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу.

Два или три дня прошли тихо и без особых перемен.

Былинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то, и, наконец, засыпал, слегка похрапывая и вереща носом.

Лизочка Рундукова эти два дня ходила несколько притихшая и много раз расспрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Былинкин на ихний взгляд, курит ли он трубку и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату.

Наконец, на третий день она и сама увидела Былинкина.

Это было рано утром. Былинкин, по обыкновению, собирался на службу.

Он шел по коридору в ночной рубашке с растегнутым воротом. Помочи от штанов болтались позади, развеваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло. Другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы.

Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащипывая от сухого полена лучину.

Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдясь своего неприбранного утреннего туалета.

А Былинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и даже восторгом.

И верно: в то утро она была очень хороша.

Эта юная свежесть слегка заспанного лица. Этот небрежный поток белокурых волос. Слегка приподнятый кверху носик. И светлые глаза. И небольшая по высоте, но полненькая фигура. Все это было в ней необыкновенно привлекательно.

В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немытая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству.

Автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин.

В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных, с ленивым взглядом, женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы. Так — мало двигается, в мягких туфлях, непричесанная... Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот подите ж!

И странная вещь, читатели!

Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать, — измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Этакая прическа у ней, чорт ее знает, какая греческая — дотронуться нельзя. А дотронешься — криков и скандалу не оберешься. Этакое платье не настоящее — опять не дотронись. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите, кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования?

Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная. А та, как на булавке. Кому это надо?

Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако, относительно женщин автор остается при своем национальном мнении.

Былинкину тоже, видимо, нравились такие женщины.

Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга и не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением.

Но это длилось одну минуту.

Лизочка Рундукова, тихо охнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы.

К вечеру, когда Былинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку. Но не встретил.

Тогда попозже, к вечеру, Былинкин пять или шесть раз смотался на кухню и, наконец, встретил Лизочку Рундукову, которой и поклонился страшно почтительно и галантно, слегка склонив голову на бок и делая ру-

ками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность.

Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили.

Былинкин приходил теперь домой и, слушая, как Лизочка играет какой-нибудь трамблям на рояли, упрасивал ее изобразить еще и еще что-нибудь щипательное.

И она играла какой-нибудь собачий вальс или шимми, или брала несколько бравурных аккордов второй или третьей, а может, даже, чорт их разберет, и четвертой рапсодии Листа.

И он, Былинкин, дважды побывавший на всех фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, как бы впервые слушал эти дребезжащие звуки беккеровского рояля. И, сидя в своей комнате, мечтательно откидывался на спинку кресла, думая о прелестях человеческого существования.

Очень роскошная жизнь началась у Мишки Рундукова. Былинкин дважды давал ему по гривеннику и один раз пятиалтынный, прося Мишку тихонько свистеть в пальцы, когда старуха у себя на кухне и Лизочка одна в комнате.

Зачем это понадобилось Былинкину, автору крайне неясно. Старуха с совершенным восторгом смотрела на влюбленных, рассчитывая не позднее осени повенчать их и сбыть Лизочку с рук.

Мишка Рундуков также не разбирался в психологических тонкостях Былинкина и самосильно свистел раз по шесть в день, приглашая Былинкина заглянуть то в ту, то в другую комнату.

И Былинкин входил в комнату, садился подле Лизочки, перекидывался с ней сначала незначительными фразами, потом просил сыграть на инструменте какую-нибудь наиболее ее любимую вещь. И там, у рояля, когда Лизочка переставала играть, Былинкин клал свои узловатые пальцы, пальцы философски настроенного человека, прожженного жизнью и обстрелянного тяжелой артиллерией, на Лизочкины белые руки и просил

рассказать барышню о ее жизни, живо интересуясь подробностями ее прежнего существования. Иногда же спрашивал, чувствовала ли она когда-нибудь трепет настоящей, истинной любви, или это у нее в первый раз.

И барышня загадочно улыбалась и, тихо перебирая рояльные клавиши, говорила: не знаю.

4

Они страстно и мечтательно полюбили друг друга.

Они не могли видеться без слез и трепета.

И встречаясь, всякий раз испытывали все новый и новый прилив восторженной радости.

Былинкин, впрочем, с некоторым даже испугом вглядывался в себя и с изумлением думал, что он, дважды побывавший на всех фронтах и с необыкновенной трудностью заработавший себе право существования, с легкостью бы теперь отдал свою жизнь за один ничтожный каприз этой, довольно миленькой, барышни.

И перебирая в своей памяти тех женщин, которые прошли в его жизни и даже последнюю, дьяконицу, с которой у него таки был роман, автор совершенно в этом уверен, Былинкин с уверенностью думал, что только теперь, на тридцать первом году, он узнал истинную любовь и подлинный трепет чувства.

Распирали ли Былинкина его жизненные соки, или же у человека бывает предрасположение и склонность к отвлеченным романтическим чувствам — пока остается тайной природы.

Так или иначе, Былинкин видел, что он иной теперь человек, чем был раньше, и что кровь у него изменилась в своем составе, и что вся жизнь — смешна и ничтожна перед столь необычайной силой любви.

И Былинкин, этот слегка циник и прожженный жизнью человек, оглушенный снарядами и видевший не раз лицом к лицу смерть, этот жуткий Былинкин слегка ударился даже в поэзию, написав с десяток различных стихотворений и одну балладу.

Автор не знаком с его стихами, но одно стихотворение, под заглавием: „К ней и к этой“.., посланное Былинкиным в „Диктатуру Труда“ и не принятое редакцией, как несозвучное социалистической эпохе, случайно и благодаря любезности технического секретаря, Ивана Абрамовича Кранца, сделалось известным автору.

У автора особое мнение насчет стихков и любительской поэзии, и поэтому автор не будет утруждать читателей и наборщиков целым и довольно длинным стихом. Автор предлагает вниманию наборщиков только пару последних, наиболее звучных строф:

Девизом сердца своего,
Любовь прогрессом называл
И только образ твоего
Изящного лица внимал.

* * *

Ах, Лиза, это я
Сгорел, как пепел от огня
Тому подобного знакомства.

С точки зрения формального метода стихишки эти как-будто и ничего себе. Но вообще же стихишки — довольно паршивые стихишки и, действительно, несозвучны и несоритмичны с эпохой.

В дальнейшем Былинкин не увлекался поэзией и не пошел по тяжкому пути поэта. Былинкин, всегда несколько склонный к американизму, забросил вскоре свои литературные достижения, без сожаления закопал талант в землю и стал жить попрежнему, не проектируя своих безумных идей на бумагу.

Былинкин и Лизочка, встречаясь теперь по вечерам, уходили из дому и до ночи бродили по опустевшим улицам и бульварам. Иногда спускались к реке и сидели над песчаным обрывом, с глубокой и молчаливой радостью следя за быстрой водой реки „Козявки“. Иногда же, взяв друг друга за руки, тихо ахали, восторгаясь необычайными красками природы или легкой воздушной тучкой, пробегавшей по небу.

Все это было им ново, очаровательно и, главное, казалось, что видят они все в первый раз.

Иногда влюбленные уходили за город и шли к лесу. А там, взявшись за пальцы, ходили разомлевшие и, останавливаясь перед какой-нибудь сосной или ёлкой, смотрели на нее с изумлением, искренно удивляясь причудливой и смелой игре природы, выкинувшей из-под земли столь нужное для человека дерево.

И тогда Василий Былинкин, потрясенный необычностью существования на земле и удивительными ее законами, падал от избытка чувств на колени перед барышней и целовал землю вокруг ее ног.

А кругом-то луна, кругом таинственность ночи, трава, светлячки чирикают, лес молчаливый, лягушки и букашки. Кругом этакая сладость и умиротворение в воздухе. Кругом та радость простого существования, от которой автор не хочет еще до конца отказаться и поэтому ни под каким видом не может признать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни. Автор, как и всякий человечешко, считает себя в праве хотя бы как-нибудь прожить, несмотря ни на какие окрики строгих и нетерпеливых критиков.

Так вот, Былинкин с Лизочкой наиболее любили эти свои прогулки за город.

Но в одну из таких прелестных прогулок, видимо сырой ночью, неосторожный Былинкин простудился и слег. У него открылась болезнь, в роде свинки.

Уже к вечеру Былинкин почувствовал легкий озноб и режущую боль в горле. К ночи же морду его стало раздувать.

С тихим плачем входила Лиза в его комнату и с распущенными волосами, в мягких туфлях, металась от постели к столу, не зная, что ей предпринять, и что делать, и как облегчить участь больного.

Мамаша Рундукова и та вкатывалась в комнату по нескольку раз на день, расспрашивая, не хочет ли болящий клюквенного киселька, который, будто бы, незаменим при всех инфекционных заболеваниях.

Через два дня, когда морду у Былинкина раздуло до неузнаваемости, Лизочка побежала за доктором.

Осмотрев больного и прописав ему какие-то медикаменты, доктор ушел, в душе видимо ругаясь, что дали ему мелочью.

Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: Ну как? Что? Есть ли надежда? И что пушай врач знает, что она не перенесет гибели этого человека.

Тогда врач, в силу своей профессии привыкший к этим сценам, равнодушно сказал, что свинка — свинка и есть, и помирать от этого, к сожалению, не придется.

Несколько раздосадованная незначительной опасностью, Лизочка грустно вернулась домой и стала самоотверженно ухаживать за больным, не щадя ни своих слабых сил, ни здоровья, не боясь даже схватить эту самую свинку от заражения.

Былинкин первые дни боялся подняться с подушек и, ошупывая раздувшееся свое горло, с ужасом спрашивал, не разлюбит ли его Лизочка Рундукова после болезни, которая позволила увидеть его в столь безобразном и омерзительном виде.

Но барышня, упрасывая его не беспокоиться, говорила, что, на ее взгляд, он стал еще более представительный мужчина, чем был раньше.

И Былинкин тихо и благодарно смеялся, говоря, что эта болезнь, как нельзя более, испытала крепость ихней любви.

5

Это была совершенно необыкновенная любовь.

А с тех пор, когда Былинкин встал с одра болезни, и голова с шеей снова приняли прежние формы, ему стало казаться, что Лизочка Рундукова спасла его от неминуемой гибели.

От этого в ихние любовные отношения вошла некоторая торжественность и даже великодушие.

В один из ближайших после болезни дней Былинкин взял Лизочку за руку и тоном решившегося на что-то человека попросил ее выслушать его, не задавая, пока что, лишних вопросов и не вмешиваясь со своими глупыми репликами.

Былинкин сказал длинную и торжественную речь о том, что он совершенно знает, что такое жизнь, и знает, как трудно существовать на земле, и что раньше, когда он был еще неоперившимся юнцом, он с преступной легкостью относился к жизни, за что сильно пострадал в свое время, но теперь, когда ему перевалило за тридцать лет, он, умудренный житейским опытом, знает как надо жить и знает суровые и непоколебимые законы жизни. И что все это обдумав, он предполагает внести кой-какие изменения в свою наметенную жизнь.

Одним словом, Былинкин сделал Лизочке Рундуковой официальное предложение с просьбой не тревожиться за будущее благосостояние, даже если Лизочка Рундукова и впредь останется безработной и не будет в состоянии вносить посильную лепту в общий скромный котел.

Она, слегка поломавшись и поговорив для изящности переживаемого момента о свободной любви, все же с восторгом приняла предложение, говоря, что она давно ждала его и что если б он не сделал этого, то был бы последним мазуриком и проходимцем. А что свободные отношения, хотя и тоже очень хороши и отличны в свое время, но это уж не то, что иное прочее.

Со своей радостной новостью Лизочка Рундукова немедленно побежала к мамаше, а также и к соседям, приглашая их притти на бракосочетание, которое состоится в весьма непродолжительном времени и будет носить скромный и семейственный характер.

Соседи горячо поздравляли ее, говоря, что она достаточно уж засиделась и намучилась безысходностью своего существования.

Мамаша Рундукова всплакнула, конечно, и пошла домой убедить в подлинности факта.

И Былинкин удостоверил старуху, торжественно попросив называть ее с этого дня мамашей. Старуха, плача и сморкаясь в передник, сказала, что она пятьдесят три года живет на свете, но что этот день — самый счастливый в ее жизни. И, в свою очередь, попросила называть его Васей. На что Былинкин милостиво дал свое согласие.

Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мотался где-то по улицам сломя голову и высуня язык.

Теперь влюбленные не ходили уже за город. Большой частью они просиживали дома и, болтая до ночи, обсуждали план своей дальнейшей жизни.

И в одну из таких бесед Былинкин принялся с карандашом в руках чертить на бумаге план их будущих комнат, которые будут составлять как бы отдельную, маленькую, но уютную квартирку.

Они, совершенно захлебываясь и споря друг с другом, доказывали, куда лучше поставить кровать и куда поставить стол, и где расположить туалет.

Былинкин убеждал Лизочку не делать глупостей и не ставить туалетный столик в углу.

— Это абсолютное мещанство, — сказал Былинкин, — ставить туалетный столик в углу. Это каждая барышня ставит этак. В углу гораздо лучше и монументальнее поставить комод и покрыть его легкой кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать.

— Комод в углу тоже мещанство, — сказала Лизочка, едва не плача. — Да, к тому же, комод мамашин, и даст ли она его или нет, это еще вопрос и ответ.

— Ерунда, — сказал Былинкин, — как это она не даст? Не держать же нам белье на подоконниках! Явная чушь.

— Ты, Вася, поговори с мамашей, — строго сказала Лизочка. — Поговори просто как с родной матерью. Скажи, дескать, дайте, маменька, комод.

— Ерунда, — сказал Былинкин. — Да, впрочем, я могу и сейчас сходить к старухе, если тебе этого так хочется.

И Былинкин пошел в старухину комнату.

Было уже довольно поздно. Старуха спала.

Былинкин долго раскачивал ее, и та, брыкаясь во сне, никак не хотела встать и понять в чем дело.

— Проснитесь же, мамаша, — строго сказал Былинкин. — Ведь можем же мы с Лизочкой рассчитывать на какой-то небольшой комфорт? Ведь не трепаться же белью на подоконниках.

С трудом понимая, что от нее нужно, старуха принялась говорить, что комод этот пятьдесят один год стоит на своем месте, и на пятьдесят втором году она не намерена перетаскивать его в разные стороны и разбрасывать его налево и направо. И что комоды она не сама делает. И что поздно ей, на старости лет, обучаться столярному ремеслу. Пора бы это понять и не обижать старуху.

Былинкин принялся стыдить мамашу, говоря, что он, побывавший на всех фронтах и дважды обстрелянный тяжелой артиллерией, может же, наконец, рассчитывать на покойную жизнь.

— Стыдно, мамаша! — сказал Былинкин. — Жалко вам комода. А в гроб вы его не возьмете. Знайте это.

— Не дам комода! — визгливо сказала старуха. — Помру, тогда и берите хоть всю мебель.

— Да, помрете! — сказал Былинкин с негодованием. — Жди!..

Видя, что дело принимает серьезный оборот, старуха принялась плакать и причитать, говоря, что в таком случае пускай невинный ребенок, Мишка Рундуков, своими устами скажет последнее слово, тем более, что он единственный мужской представитель в ихнем Рундуковском роду, и комод, по праву, принадлежит ему, а не Лизочке.

Разбуженный Мишка Рундуков крайне не захотел отдавать комода.

— Да-а, — сказал Мишка. — Небось, гривенник отвалит, а комод взять хотят. Комоды тоже денег стоят.

Тогда Былинкин, хлопнув дверью, пошел в свою комнату и, горько отчитывая Лизочку, говорил ей, что

ему без комода как без рук, и что он сам, закаленный борьбой, знает, что такое жизнь, и ни на шаг не отступит от своих идеалов.

Лизочка буквально металась от матери к Былинкину, умоляя их как-нибудь притти к соглашению и предлагая, по временам, перетаскивать комод из одной комнаты в другую.

Тогда, попросив Лизочку не метаться, Былинкин предложил ей немедленно лечь спать и набраться сил с тем, чтобы с утра заняться этим роковым вопросом.

Утро ничего хорошего не принесло.

Много было сказано со всех сторон горьких и обидных истин.

Разгневанная старуха с отчаянной решимостью сказала, что она видит его, Василия Васильевича Былинкина, вдоль и поперек, и что сегодня он комод от нее требует, а завтра студень из нее сварит и съест с хлебом. Вот это какой человек!

Былинкин кричал, что он подаст в уголовный розыск прошение об аресте старухи за распространение заведомо ложных и порочащих слухов.

Лизочка с тихим криком перебежала от одного к другому, упрашивая их, наконец, не орать и постараться спокойно разобраться в вопросе.

Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она и без оранья скажет всем и каждому, что Былинкин за это время у них обедал три раза и не потрудился даже, ради любезности, предложить некоторую компенсацию хотя бы за один обед.

Страшно взволнованный, Былинкин язвительно сказал, что зато он, гуляя с Лизочкой, много раз покупал ей леденцы и пастилу и два раза букеты цветов и, тем не менее, не предъявляет мамаше никаких счетов.

На что Лизочка, закусив губы, сказала, что пусть он не врет нахально, что никакой пастилы не было, а было лишь монпасье и небольшой букетик фиалок, которым грош цена и которые, к тому же, на другой день завяли.

Сказав это, Лизочка с плачем вышла из комнаты, предоставив все на волю судьбы.

Былинкин хотел побегать за ней и извиниться за неточные сведения, но, снова связавшись со старухой, назвал ее чортовой мамашей и, плюнув в нее, выбежал из дому.

Былинкин ушел из дому и два дня пропадал неизвестно где. И когда явился, то официальным тоном заявил, что он не считает более возможным пребывать в этом доме.

Через два дня Былинкин переехал на другую квартиру, в дом Овчинниковых. Лизочка демонстративно просидела эти дни в своей комнате.

Автор не знает подробностей переезда и также не знает, какие горькие минуты переживала Лизочка. И переживала ли она их. И сожалел ли обо всем Былинкин или все делал с полным сознанием и решимостью.

Автору известно только, что Былинкин, переехав, долгое еще время, правда, уже после своей женитьбы на Марусе Овчинниковой, ходил к Лизочке Рундуковой. И они вдвоем, потрясенные своим несчастьем, сидели рядом, перебрасываясь незначительными словами. Иногда, впрочем, перебирая в своей памяти тот или иной счастливый эпизод или случай из прошлого, говорили о нем с грустной и жалкой улыбкой, сдерживая слезы.

Иногда приходила в комнату мать, и тогда они втроем оплакивали свою судьбу.

После Былинкин перестал ходить к Рундуковым. И, встречаясь с Лизочкой на улице, корректно и сдержанно кланялся ей и проходил мимо...

6

Так кончилась эта любовь.

Конечно, в иное время, лет, скажем, через триста, эта любовь так бы не кончилась. Она бы расцвела, дорогой читатель, пышным и необыкновенным цветом.

Но жизнь диктует свои законы.

В заключение повести автор хочет сказать, что, развертывая эту несложную историю любви и несколько увлекшись переживаниями героев, автор совершенно упустил из виду соловья, о котором столь загадочно сказано было в заглавии.

Автор побаивается, что честный читатель, или наборщик, или даже отчаянный критик, прочтя эту повесть, невольно расстроится.

— Позвольте, — скажет, — а где же соловей? Что вы, — скажет, — морочите голову и заманиваете читателя на легкое заглавие?

Было бы, конечно, смешно начинать сначала повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет вспомнить кое-какие подробности.

Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

— Жрать хочет, оттого и поет.

И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Былинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни.

Автор тоже именно так и думает: о будущей отличной жизни лет, скажем, через триста, а может, даже и меньше.

Да, читатель, скорей бы, как сон, прошли эти триста лет, а там заживем.

Ну, а если и там будет плохо, тогда автор, с пустым и холодным сердцем, согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Тогда можно и под трамвай.

ВЕСЕЛОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Нет, не может автор с легким и веселым сердцем прилечь на кровать с книжкой русского писателя!

Автор для душевного успокоения предпочитает взять какую-нибудь иностранную книжку.

В самом деле — иностранцы очень уж приятно едят. Кругом у них счастье и удача. Кругом полное благополучие. Герои все как на подбор красивые. Ходят в шелковых платьях и в голубых подштанниках. В ваннах чуть не ежедневно моются. А главное — масса бодрости, веселья и вранья. Конец, конечно, счастливый. И вообще вся книжка закрывается с полным успокоением и с полной сердечной радостью.

Даже такая неустойчивая вещь, как погода, и та берется определенно хорошая на протяжении всей иностранной книжки. Солнце светит и греет. Масса зелени и воздуха. Тепло. Духовые оркестры поминутно играют. Ведь это же прямо нервы успокаивает!

Теперь нарочно возьмем нашу дорогую русскую литературу. Погодка взята по большей части ерундовая. Либо метель, либо буря. Либо ветер дует в морду герою. Герои же, как нарочно, подобраны нелюбезные. То и дело ругаются. Одеты плохо. Вместо веселых и радостных приключений описываются кровавые стычки из эпохи гражданской войны. Либо вообще чего-нибудь описывается от чего клюешь носом.

Нет, не согласен автор с такой литературой! Пушай в этой литературе много хороших и гениальных книг, пушай в этих книгах чорт знает какие глубокие идеи

и разнообразные слова — не может автор найти в них душевного равновесия и радости.

И почему это французы могут изображать отличные и успокоительные стороны жизни, а мы не можем? Да что вы, товарищи, помилуйте! Хороших фактов, что ли, не хватает в нашей жизни? Или легких и бодрых включений недостает? Или, по-вашему, ощущается нехватка в красивых героинях?

Что вы, дорогие товарищи! Все есть, если поискать. И любовь. И счастье. И благополучие. И красивые герои. И яркая бодрость. И наследства. И ванны. И голубые подштанники. И выигранные займы, по которым можно выиграть 100 000. Все это есть в нашей жизни.

Зачем же тогда засорять эту жизнь и сгущать черные краски? И так-то много скучного и бедного в наши переходные дни, зачем же еще литературой подбавлять пару?

Нет, не согласен автор с нашей высокой литературой! Конечно, автор и сам только недавно пришел к этим решительным мыслям. Автор и сам недавно еще задавался на самые отчаянные и меланхолические идеи и на разрешения самых немислимых вопросов. И вот — хватит. Довольно. Не в этом счастье. И не в этом мудрость.

Может, и в самом деле надо писать легко и весело. Может, и в самом деле надо писать только о хорошем и счастливом. Чтоб дорогой покупатель из книг черпал бы бодрость и радость, а не тоску и уныние.

Автор предполагает, что это именно так и должно быть.

И теперь, когда автор заканчивает свою книгу, он приходит к грустному размышлению о том, что вся книга написана не так, как надо бы.

Но что же поделать? Отныне автор берется рассказывать только бодрые, веселые и занимательные истории. Отныне автор отрекается от всех своих мрачных мыслей и меланхолических настроений.

К сожалению, перебирая в своей памяти все приключения и события последних лет, автор с некоторым конфузом и замешательством должен заявить, что для почину особо выдающейся веселой истории автор прямо-таки не может сейчас припомнить. Вспоминается лишь одна, более или менее, подходящая историйка, не то, чтобы слишком веселая, но, пожалуй, тихонько посмеяться можно будет. А если в этой истории чуть слегка подтушевать факты, не то, чтобы приврать, а чуть пустить эдакого веселенького колеру и светлого фона, на котором развернутся события, — то она для почину вполне сойдет. Читать будет можно.

А читателя автор насквозь узнал. Читателя хлебом не корми — дай ты ему ради бога за его деньги бодрые и счастливые переживания.

Какой-нибудь тут литературный критик, какой-нибудь писатель, какой-нибудь Рабиндранат Тагор ужасно как обрадуется и всполошится. „Вот, — скажет, потирая руки, — взгляните, скажет, на сукинова - сына — явно потрафляет читателю. Хватайте его и бейте по морде и по чем попало“.

Подождите драться и ударять по морде, уважаемые критики. Обождите замахиваться. Дайте сказать человеку. Он не потрафляет читателю, а пишет так, как полагает нужным, ради бодрой идеи и ради общего благополучия. Впрочем, житейская мудрость и опыт многих лет, а также слабое состояние здоровья не позволяют автору вступать в пререканье с критиком.

Так вот, перебирая в памяти десятка полтора всяких историй, автор решает остановиться на забавном и веселом приключении, достойном пера какого-нибудь выдающегося французского писателя.

В этом веселом приключении много было счастливых и острых переживаний, много было бодрости и борьбы. Тут были романтические встречи. И стояла весьма недурная осенняя погода. Счастливый конец завершил эту эпопею.

Автор полагает, что лучшей истории ему прямо-таки не припомнить.

Конечно, на первый взгляд особо выдающейся бодрости и счастья не будет ощущаться. Но нельзя же, чтоб сплошь было счастье и счастье. Этак и жить, сами понимаете, будет скучновато.

Итак, автор постарается в правдивых и бодрых тонах рассказать о веселом приключении, случившемся в самые недавние дни с Сергеем Петровичем Петуховым.

2

Сергей Петрович Петухов по воскресеньям на службу не ходил. В этот день, полный отдыха и бодрого веселья, Сергей Петрович вставал поздно, часов этак в десять, а то и в одиннадцать. Вон как!

Но сегодня не было еще и десяти, когда Сергей Петрович сладко проснулся в своей постели, повернулся на другой бок и радостно улыбнулся наступающему утру.

Это была улыбка молодого здорового организма, не захватанного еще врачами. Это была улыбка юноши, видевшего ночью отличные сны, светлые перспективы и бодрые горизонты.

И действительно, — в эту ночь Сергей Петрович видел себя каким-то молодым богатым франтом. Он не помнил в точности, что он видел, но какие-то милостивые мордочки, какие-то танцующие барышни, какие-то легкие неоскорбительные речи и славные улыбки переплетались этой ночью в радостное сновиденье, счастливые картины молодости и удачи.

Сергей Петрович похлопал себя ладонью по зевающему рту и сел на постель.

Довольно чистая ночная рубашка из тонкого мадаполама плотно облегла высокую грудь и молодые крепкие плечи.

Сергей Петрович долго сидел на постели и, обняв свои колени, обдумывал виденный сон.

И под влиянием этого сна, и, может-быть, из-за того, что солнце светило в комнату, Сергею Петровичу захотелось легкой и беспечной жизни или какого-нибудь забавного и веселого приключения. Ему хотелось, как бы продолжения сегодняшнего удачного сна.

Ему захотелось жить в просторной и веселой комнате площадью не менее как в 3 квадратные сажени. Он уже мысленно застилал эту комнату пушистыми персидскими коврами и обставлял ее дорогими роялями и пианинами.

Он уже видел себя под руку с красивой миловидной девушкой. Ему казалось, что он идет с ней в кафе, где пьет густое какао с венскими сухарями, платит за все один и затем, пошатываясь, выходит на улицу.

Сергей Петрович вздохнул, обвел тихим взглядом свое неказистое помещение и вдруг резким движением вскочил с постели.

Он вскочил с постели, сполоснул морду под жестяным рукомыльником, причесал свои трепаные волосы и, прикрепив маленькое карманное зеркальце в стене, стал перед ним завязывать галстук.

Он долго возился с галстуком, потом с сапогами, начищая их до самого отчаянного блеска. Потом долго примерял шляпу. И, наконец, одетый и причесанный, слегка надушенный мятными каплями, вышел на улицу.

Стояло чудное тихое утро бабьего лета. Масса зелени, воздуху и солнца на минуту ослепила Сергея Петровича. Где-то гремел духовой оркестр — хоронили общественного деятеля.

Сергея постоял у дома, повертел в руке палочку и пошел вдоль по проспекту легкой танцующей походкой.

Сергею Петухову было 25 лет. Он был молод и здоров. У него были крепкие и сильные мускулы, у него были крупные удачные черты лица и красивые серые глаза с ресницами и бровями. Проходящие женщины с явным удовольствием глядели на его выпуклый стан, на его круглые полные щеки и на свежеразглаженные брюки без излишних пятен. Сергей Петрович чуть при-

щуренным глазом приветствовал каждую проходящую мимо женщину. Иногда он оборачивался и смотрел ей вслед, что-то обдумывая. Он шел медленно и дышал полной грудью. Иногда насвистывал какой-нибудь веселый мотив. Иногда останавливался у магазина рядом с какой-нибудь девушкой и смотрел на нее искоса, как бы оценивая и сравнивая с теми выдающимися барышнями, каких он видел этой ночью.

Вдруг Сергей обернулся и пристально посмотрел вслед какой-то проходящей девушке.

„Катюша Червякова собственной персоной“, — подумал Сергей Петрович и, немного постояв, пошел вслед за ней.

Слегка задыхаясь, он догнал девушку. Он хотел сзади веселым шаловливым движением рук закрыть ей глаза и после спросить фальшивым тоном: „Кто вас схватил за глаза“. Но вдруг вспомнил, что руки у него сегодня не особо чистые, и что перед уходом он чистил сапоги, и ядовитый скипидарный дух гуталина вряд ли выветрился за пятиминутную прогулку. Серега раздумывал это сделать и только, подойдя совсем близко к девушке, он одернул ее за руку и, шуточно затопав ногами, вскричал:

— Вот я вас! Хоп, поберегись...

Девушка, смертельно побледнев, испуганно отшатнулась. Скорей всего она предположила, что какой-то дурак выкатывает тележку со двора или какой-нибудь хулиган хочет чего-нибудь с ней сделать. Но, увидев Сергея Петровича, она бурно расхохоталась. Они вдвоем, взявшись за руки, хохотали как дети. Они буквально минут 10 не могли произнести ни одного слова от приступов смеха.

Потом, слегка успокоившись, он спросил, куда она идет. И узнав, что она гуляет, он взял ее под руку и поволочил за собой.

Много раз встречался Сергей Петрович с этой девушкой, но никогда не думал о ней и не вспоминал даже. А сейчас, под влиянием легкого веселого сна и бодря-

щей погоды, Серега ощутил в своей груди какое-то томление и любовный трепет.

Он крепко взял девушку под руку и торжественно повел ее по городу, как бы приглашая прохожих взглянуть на продолжение его сна.

Катюша Червякова, привыкшая видеть Сергея Петровича слегка хмурым с обидчиво выпяченной нижней губой, решительно недоумевала. Она не знала, какая счастливая муха укусила ее кавалера. Но по природе своей веселая и смешливая, она поддерживала его бодрое шаловливое настроение ума. Она говорила всякие пустяки, и он, захлебываясь от смеха и молодости, буквально хрюкал на всю улицу.

Молодость, красота и прекрасная погода связали вдруг эту парочку: им обоим показалось, что наступила любовь, и тогда какой-то трепет прошел по их коже.

И когда они прощались у ее дома, Сергей Петрович стал взволнованно просить назначить свиданье как можно скорей. Он говорил, что жизнь его быстро проходит без особых переживаний и приключений. Он крайне одинок. Одиночество его коробит. И он хотел бы поближе подойти к Катюше Червяковой. Не хочет ли она сегодня, в 7 часов вечера притти на угол Кирпичного переулка к кинематографу? Они пойдут на первый сеанс и там, сидя рядышком, посмотрят драму и под музыку обмозгуют, чего им делать дальше — гулять ли по городу или зайти куда-нибудь.

Слегка для виду поломавшись и заявив, что ей надо сегодня подрубить какие-то там мамашины простыни и пересчитать грязное белье, девушка все же быстро дала свое согласие, испугавшись, как бы кавалер не раздумал насчет кино.

Они очень мило и просто попрощались и разошлись. Впрочем, Серега с минуту постоял еще перед калиткой, заглянул в ворота, бодро цыкнул на залаявшую на него собаку и пошел домой завтракать.

Завтрак был сытный и сочный. Яичница из трех яиц с луком и с хреном. Кусок чайной колбасы. Масло.

Хлеба Сергей Петрович мог есть без усталости. Хозяйка с этим не считалась.

— Хорошая штука жизнь,—бормотал Сережа, кушая яичницу.

3

Автор не знает, что самое главное, самое, так сказать, великолепное в нашей жизни, из-за чего стоит, вообще говоря, существовать на свете.

Может-быть, это служение отечеству. Может-быть, служение народу и всякая такая ураганная идеология. Может-быть так. Скорей всего, что так. Но вот в личной жизни, в повседневном плане, кроме этих высоких идей, существуют и другие, более мелкие идейки, которые, главным образом, и делают нашу жизнь интересной и привлекательной.

Автор ничего не знает о них и не берется запутывать простые и малокультурные умы своими на этот счет глупыми изречениями. Решительно не знает автор, что самое привлекательное в жизни.

Иной раз только автору кажется, что, после общественных задач на первом плане стоит любовь. И что любовь самое привлекательное занятие.

Вот другой раз идешь, предположим, по городу. Поздно. Вечер. Пустые улицы. И идешь ты, предположим, в огромной тощице — в пульку, скажем, проперся или какая-нибудь мировая скорбь обуяла.

Идешь, и все кажется до того плохим, до того омерзительным, что вот прямо взял бы, кажись, и повесился бы сию минуту на первом фонаре, если б он освещен был.

И вдруг видишь — окно. Свет в нем красный или розовый пущен. Занавесочки какие-нибудь этакие даны. И вот смотришь издали на это окно и чувствуешь, что уходят все твои мелкие тревоги и волнения, и лицо расплывается в улыбку.

И тогда кажется чем-то прекрасным и великолепным и этот розовый свет, и оттоманка какая-

нибудь там за окном и какая-нибудь смешная любовная канитель.

Тогда кажется все это чем-то основным, чем-то непоколебимым, чем-то раз навсегда данным.

Ах, читатель! Ах ты, милый мой покупатель! Да знаешь ли ты это драгоценное чувство любви, этот настоящий любовный трепет и сердечные тревобления? Не кажется ли тебе это самым драгоценным, самым привлекательным в нашей жизни?

Автор повторяет — он не утверждает этого. Он решительно не утверждает. Он надеется, что есть в жизни что-то еще более лучшее и более прекрасное. Автору только иногда кажется, что нет ничего выше любви.

Автора, к сожалению, мало любили женщины. Автор прямо-таки не припомнит — целовали ли его хоть раз при розовом освещении. Должно-быть, нет. Автор был молод и юн в те бурные годы революции, когда вообще никакого освещения не было, кроме восходящего солнца. И люди ели тогда овес. Пища это грубая, лошадиная. Она не вызывает тонких романтических побуждений и тоски по розовому фонарю.

Но все это не слишком удручает автора и не колеблет в нем сейчас бодрой любви к жизни и сознания в том, что любовь, пожалуй, очень большое и очень привлекательное занятие.

Сергей Петрович Петухов, хотя был и помоложе автора, но у него были такие же мысли и такие же точно соображения насчет жизни и любви. Он так же понимал жизнь, как понимает ее автор, умудренный житейским опытом.

И в тот знаменитый день, в то ясное воскресенье, Сергей Петрович, сытно позавтракав, часа полтора валялся на кровати, предаваясь этим сладким любовным мечтаниям. Он думал о любовном приключении, которое у него уже завязывается. И думал с тех умных, веселых и энергичных словах, которые он нынче утром говорил девушке. И еще думал о том, что любовь

очень и очень может скрасить его скучную и одинокую жизнь.

Сергей Петрович, вытянув ноги на спинку кровати, с нетерпением стал подсчитывать, сколько же, наконец, времени осталось до назначенного часа, до семи часов вечера, когда он будет сидеть со своей барышней в кино и там, под музыку бравурного рояля и под стрекот аппарата, будет говорить тихим и энергичным шопотом о той неожиданной нежности, которая нынче охватила его.

Было начало второго.

— Почти шесть часов ожидания, — бормотал наш нетерпеливый герой.

Но вдруг, стремительно вскочив с кровати, он быстро зашагал по комнате, бормоча проклятия и пихая ногами стулья и табуреты, попадавшие под его неосторожные шаги.

В самом деле. Что ж это он лежит, как сукин сын? Нужно же поскорее действовать.

Сергей Петрович был в настоящую минуту, так сказать, не при деньгах. Полученное неделю назад жалованье давно ушло на всякие житейские нужды и потребности и сейчас у нашего героя было в кармане всего четыре копейки меди и одна трехкопеечная почтовая марка.

Сергей Петрович об этом остро помнил, когда говорил девушке о кино. Он не захотел только в те минуты портить себе кровь и обдумывать, где бы ему занять эти, в сущности, ничтожные деньги. Он решил обдумать это дома. Но вот уже почти два часа он, как последний сукин кот, валяется на матрацах, не предпринимая никаких шагов. Размечтался, дырявая голова!

Сергей Петрович без пиджака, в одной рубашке, бросился в соседнюю комнату. Он захотел занять у соседа, с которым он был в довольно-таки приятельских отношениях. Однако, сосед сказал, что сегодня он решительно не может одолжить. Он верит в благие намерения Сергея Петровича отдать эти деньги, но, к со-

жалению, у него самого осталось копеек сорок, которые ему крайне нужны сегодня. А кроме того, он вообще воздерживается давать в долг, считая это совершенно неумной и рискованной затеей.

Сергей Петрович бросился на кухню. Он стал умолять хозяйку выручить его из беды. Однако, хозяйка сухо и непреклонно отказала, заявив, что она сама едва-едва сводит концы с концами и что она, к сожалению, не удосужилась еще приобрести на рынке подходящий станок, на котором она бы могла сколько ей влезет печатать червонцы и двугривенные.

Сергей Петрович, в сильных грустях и даже несколько взволнованный, прошел в свою комнату и снова прилег на кровать. Он стал методически обдумывать — где бы ему разжиться монетой. Ему нужна, в сущности, небольшая сумма — ну, на худой конец, ему нужно семь гривен.

Сергею Петровичу до того захотелось достать эти деньги, что на один миг он даже отчетливо увидел их в своей руке — три двугривенных и один гривенник.

Стараясь обдумывать спокойно, Сергей Петрович мысленно обошел всех своих знакомых и в сильных выражениях упрашивал их одолжить ему нужную сумму. Но вдруг пришел к мысли, что в долг он действительно вряд ли у кого займет.

Тогда Сергей Петрович стал обдумывать, как бы иным способом выкрутиться из некрасивого положения. Быть-может продать что-нибудь?

Да, конечно, продать!

Тогда Сергей Петрович быстро открыл шкаф, письменный стол, ящик. Нет, решительно ничего нет. Все ерунда и рвань. Не может же он загнать последний костюм или хозяйский шкаф и диван! Вот, если загнать старые сапоги. Но что за них дадут?

Вот что. Да, конечно, Сергей Петрович сейчас, сию минуту продаст эту мясорубку. Она у него лежит в корзине. Она досталась ему еще от покойной матери. Странно, почему он эту машинку до сих пор не загнал?

Сереза стремительно вытянул из-под кровати корзину, полную всякой домашней пыльной рухляди. С большой надеждой извлекал Сергей из корзины разные вещи и предметы, мысленно оценивая их. Но все это опять - таки была сплошная неценная ерунда. Масса пыльных пузырьков, закорюзлых склянок, коробочек от порошков с закрученными рецептами. Какой-то тяжелый висячий шар от лампы с дробью. Ржавый засов. Два крючка. Мышеловка. Колодка от сапог. Кусок голенища. И вот, наконец, мясорубка.

Сереза стер с нее пыль платком и любовно прикинул ее на ладонь, мысленно взвешивая и оценивая.

Это была довольно массивная, плотная мясорубка с ручкой. В девятнадцатом году в ней мололи овес.

Сереза сдул с нее последнюю пыль, завернул в газету и, накинув на себя пальто, опрометью кинулся на рынок.

Воскресный торг был в полном разгаре. На площади ходили и стояли люди, бормоча и размахивая руками. Здесь продавались штаны, сапоги и лепешки на подсолнечном масле. Стоял страшный гул и острый запах.

Сереза протискался сквозь толпу и встал на виду в сторонку. Он развернул свою драгоценную ношу и опрокинул ее на ладонь, ручкой вверх, приглашая этим проходящую публику взглянуть на товар.

— Вот мясорубка, — бормотал наш герой, утарапливая события.

Сереза довольно долго стоял — никто не подходил даже. Только одна полновесная дама на ходу спросила о цене и, узнав, что цена — полтора целковых — пришла в такое сильное нервное раздражение и в такую неопишемую ярость, что начала на весь рынок крыть и срамить Сергея Петровича, называя его мародером и осатанелым подлецом. И под конец заявила, что он сам вместе со своей машинкой и прабабушкой стоит не более как рубль с четвертью.

Собравшаяся толпа несколько оттеснила расходящуюся даму.

Один предприимчивый молодой человек тут же, отделившись от толпы, осмотрел мясорубку, вынул кошелек и, брякнув им об ладонь, сказал, что полтора целковых — цена, действительно, неслыханная в наши дни и что мясорубка решительно не стоит таких денег. Она в плохом виде, и нож у нее затупленный и гнусный нож. И что, если владелец мясорубки желает, то может хоть сию минуту получить за нее наличными деньгами двугривенный.

Сереза отказался, гордо покачав головой.

Он 'долго стоял после этого в неподвижной позе. Никто не подходил к нему. Толпа давно поредела.

У Сергея Петровича крайне затекли руки, и заняло сердце.

Но вот неожиданно он глянул на рыночные часы и пришел в совершеннейший ужас. Было уже без четверти четыре. Он еще ничего не сделал.

Тогда Сергей решил, не теряя драгоценного времени, продать мясорубку первому покупателю за любую цену, с тем, чтобы немедленно куда-нибудь побежать и раздобыть недостающие деньги.

Он продал мясорубку какому-то лохматому чорту за 15 копеек.

Лохматый долго и с особо оскорбительным выражением лица отсчитывал медяки в протянутую руку Сергея Петровича. И отсчитав тринадцать копеек, сказал: „Хватает“.

Сереза хотел крепко покрыть отчаянного покупателя, но, взглянув еще раз на часы, охнул и ринулся к дому.

Было четыре часа пополудни.

4

Сереза, зажав в кулаке 13 копеек, бросился домой, на ходу обдумывая планы и возможности, по которым он достанет остальную сумму. Однако, голова решительно отказывалась что-либо придумать. Лоб покрылся потом, и в висках лихорадочно стучало. Мысль о том,

что осталось менее трех часов, не давала спокойно обдумывать создавшееся положение.

Сергей Петрович пришел домой и окинул печальным взором свою комнату.

Он, было, решил загнать что-нибудь основное из своего постельного гардероба — подушку, например, или одеяло. Но в это время подумал о том, что девушка после кино, очень свободно, может посетить его скромное жилище. Ну что он ей тогда скажет? В самом деле, ну что он может сказать барышне насчет недостающего одеяла? Позор. Ведь барышня из любопытства сама может спросить: „Где, — скажет, — у вас, Сергей Петрович, одеяло?“

При этой мысли сердце Сергея Петровича облилось кровью и страшно застучало, и он решительно отверг этот недостойный план.

Но вдруг новая счастливая идея осенила бедную голову.

Тетка. Родная тетка. Тетка Наталья Ивановна Тупицына. Родная тетка Сергея Петровича. Что он обалдел, в самом деле? Чего ж он раньше, дырявая голова, о ней не подумал?

Прежняя бодрость и веселье охватили все существо Сергея Петровича. Он стал танцевать какой-то дикий африканский танец, размахивая своим пальто и подывая. И накинув пальто только на лестнице, Сергей Петрович хорошей, бодрой рысцой побежал на Газовую улицу № 4 к родной дорогой своей тетке.

Сергей Петрович довольно редко видался с теткой. Он виделся с ней не более двух раз в год — на именины и пасху. Но, тем не менее, это была его родная тетка. Она поймет. Она, ей-богу, поймет. Сергей был довольно — таки любимым ее племянником. У нее была даже сумасшедшая любовь к нему. Она сама ему сказала, что после ее смерти пушай он владеет тремя мужскими костюмами, которые остались после ее покойного супруга, умершего полтора года назад от совершенно незаразной болезни, — от брюшного тифа.

И не может быть, чтобы эта родная тетка не вошла в его пиковое положение.

Вот, наконец, и Газовая улица. А вот и симпатичный дом № 4, двухэтажный, с мелкими окнами.

Сережа вбежал во двор через калитку. Поднялся одним духом во второй этаж. Вошел в кухню.

Две старые женщины хлопотали у плиты. Это были довольно вздорные старухи, квартирные хозяйки — сестры Белоусовы. Одна из них, младшая и наиболее ядовитая старуха, стояла на корячках перед открытой печкой и кочережкой вынимала угли в тушилку, из явной скупости. Другая старушка, старшая Белоусова, вытирала тарелки засаленным полотенцем. Какой-то небольшой парень, может-быть какой-нибудь белоусовский родственничек, сидел на табурете и беззастенчиво жрал вареный картофель.

На стене перед плитой в громадном количестве бегали тараканы. У окна висели железные часы с гирями. Маятник качался со страшной быстротой и хрипло, со скрежетом, отбивал такт тараканьей жизни.

Женщины таинственно переглянулись, когда Сергей Петрович вошел в кухню. Они замахали на него руками, как бы приглашая его вести себя потише и не харкать. А сами, стараясь перегудеть друг друга, начали докладывать, что вот уж вторая неделя, как его тетка, Наталья Ивановна Тупицына, лежит без задних ног на краю могилы, и что приглашенный врач, выслушав ее, ничего такого особенно страшного не сказал, он только развел руками и прописал порошки, от которых на другой день к вечеру у больной отнялись ноги и перестали работать язык и желудок. И что если так пойдет дальше, то старушка Тупицына, не сегодня — завтра, с помощью божьей, перекочет в иной, лучший мир. И что Сергей Петрович, как единственный ее законный наследник, пушай сам распоряжается всякими могилами и гробами, так как у них нету времени бескорыстно работать неизвестно на кого.

У Сергея Петровича совершенно упало сердце. Последняя надежда его рухнула. Он почти не соображал, что ему говорили. Он оттеснил причитавших старух и медленно, слегка покачиваясь, пошел по коридору в теткину комнату.

Тетка неподвижно лежала на кровати, тяжело и хрипло дыша.

Сергей Петрович обвел глазами комнату и мельком глянул на желтое старухино лицо с закрытыми глазами и с острым носом. У Сергея Петровича захватило дыхание, и, осторожно ступая на носки, он снова пошел в кухню.

Ему не было жаль умирающей тетки. Он даже в те минуты и не подумал о ней. Он только подумал о том, что сегодня решительно нет никакой возможности призанять у ней денег.

Сергей Петрович минут пять стоял в кухне почти в полной неподвижности. Ужасная бледность покрыла его лицо.

Две женщины, из уважения к его нестерпимому горю, старались также не двигаться, они только беззвучно вздыхали и вытирали кончиками платков свои губы и глаза. Стояла почти полная тишина. Только один парнишка попрежнему, грубо чавкая, жрал картофель. И попрежнему кухонные часы мерно отбивали движение времени.

Тогда Сергей Петрович, шумно вздохнув, искоса посмотрел на тикающие часы и замер в совершенном и окончательном оцепенении.

Было начало шестого.

Большая стрелка заканчивала первую свою четверть.

Второй раз в этот день сердце Сергея Петровича облилось кровью. Заломило в бок. Вся голова вспотела. И в горле стало сухо и жестко.

Сосущая тревога сменилась вдруг полным и бурным отчаянием.

С Сергеем Петровичем сделалась такая нервная лихорадка, что он едва нашел выход на лестницу. Он су-

нулся было в чулан, потом дважды ткнулся в уборную, потом согнал с табуретки парнишку и хотел ударить его по морде и, наконец, с помощью крестящих его старух, нашел выходную дверь.

Он едва прошел через дверь, до того мотались его руки и ноги.

Только на улице Сергей Петрович немного пришел в себя. Он медленным шагом пошел к дому. Он старался ни о чем не думать. Но всевозможные мысли сами давили его голову. Он пытался иронией несколько смягчить свое положение.

— Вот как, брат Серега, — бормотал он. — Вот как пришилило.

Однако, ирония не помогала.

Он пришел домой и в полном изнеможении лег на кровать.

— В чем, собственно, дело? — успокаивал себя Сергей. — Ну, эка штука — денег нету! Подумаешь, какая нестерпимая беда! Дерьмо какое. К чему же это последнюю свою кровь отравлять вопросами? Пойду и скажу, мол, нету — мало ли.

Но тут какое-то упрямство и какое-то тупое желание достать во что бы то ни стало не давали ни о чем другом думать.

Казалось, что в этом сейчас заложен весь смысл жизни. Или он, Сергей Петрович Петухов, достанет эти жалкие деньги и пойдет сегодня с девушкой, как ходят все люди, беспечно и весело, или же какой-то крах, какая-то ужасная катастрофа разразится над ним.

Сергей Петрович неподвижно лежал на постели. Целые фантастические планы и картины стали рисоваться в его мозгу.

Вот, например, он идет по улице и находит бумажник. Или, вот он заходит в магазин, наводит панику и ужас на приказчиков и забирает товару на кругленькую сумму. Или приходит в госбанк, загоняет служащих в ванную комнату и берет полный мешок гривенников.

Тут же, после всякой своей фантазии, Сергей безнадежно усмеялся и упрекал себя в нереальном подходе к событиям.

Он упрашивал себя не волноваться, а строго, по порядку, не торопясь и не предаваясь заманчивым иллюзиям, перечислить методически все возможные выходы.

Но вдруг все — и кровать, и комната, и подушки — стали невыносимы. Сергей Петрович почти выбежал на улицу.

Он, крупно шагая и бормоча что-то, прошел по проспекту.

Сам того не замечая, он остановился у часового магазина и долго глядел на круглый белый циферблат часов, выставленных в окне.

Он долго стоял и глядел, как двигалась большая стрелка. Она двигалась крайне медленно, и с каждым ее движением высыхало в горле Сергея Петровича.

Было шесть часов вечера.

Большая стрелка несколько даже перемахнула 12.

Сергей Петрович резко повернулся и пошел дальше. И, проходя мимо госбанка, криво усмеялся и побарабанил пальцами по вывеске.

И пошел дальше, усмехаясь.

Он долго шел по каким-то улицам. И вдруг снова увидел дом своей тетки.

Сергей Петрович немного постоял у теткиного дома, решительным шагом прошел во двор и стал подниматься по лестнице.

Неясные мысли приняли вдруг отчетливую форму.

Ну, конечно. В чем же дело? Он придет к тетке и просто возьмет у нее что-нибудь. Или разбудит ее и попросит. Он совсем не хочет скрывать от нее. Он, наконец, как наследник может это сделать. Он может, например, открыть комод или какой-нибудь там ночной столик и взять какую-нибудь мелочь. В чем же дело? В конце концов, он может даже предупредить этих двух квартирных дур.

Сергей Петрович поднялся во второй этаж, подошел к дверям и минуты две стоял перед ними в нерешительности.

Потом слегка подергал ручку. Дверь была закрыта.

Сергей Петрович хотел было громче потрясти ручку, но вдруг услышал шаги в кухне. Кто-то подходил к дверям.

Сам не зная почему—Сергей Петрович испугался и одним прыжком бросился в сторону на лесенку, ведущую на чердак.

В это время загремел крюк, дверь открылась, и квартирная хозяйка, старшая Белоусова, с ведром, полным помоев, вышла на лестницу и, не заметив Сергея Петровича, стала спускаться вниз.

Немного обождав, Сергей Петрович быстро и решительно подошел к незапертым дверям, осторожно открыл их и вошел в кухню.

В кухне никого не было.

Тогда, осторожно и тихо ступая на носки, Сергей Петрович пошел по коридору в теткинскую комнату. В комнате было темно.

Безотчетный страх, почти ужас охватил Сергея. Он сделал три шага по направлению к теткиной кровати и остановился, наступив на мягкие войлочные старухины туфли. Дрожь прошла по его телу.

Спокойное, хотя и хриплое, дыхание тетки своей равномерностью немного успокоило Сергея Петровича. Он подошел вплотную к кровати, пошарил руками впереди себя и, нащупав столик, подошел к нему.

Вдруг неосторожным движением трясущейся руки, он опрокинул на столике какой-то пузырек. Вслед за пузырьком со страшным звоном упала на пол столовая ложка. Тетка слегка мотнула головой и промычала неясное.

Сергей Петрович замер, стараясь не дышать.

В соседней комнате послышались вдруг чьи-то шаги. Кто-то теперь шел по коридору беспокойными, шаркающими ногами.

Сергей Петрович заметался по комнате. Он подбежал к окну. Потом повернулся назад и, стремительно открыв дверь, бросился в темный коридор. На быстром ходу он сшиб с ног младшую старуху Белоусову и, перепрыгнув через нее, побежал дальше.

Ужасно закричала старуха, и крик ее гулко разнесся по всему дому.

Сергей Петрович вбежал на кухню, погасил за собой свет и кинулся на площадку.

Сергей Петрович хотел одним духом броситься вниз, но вдруг внизу послышались торопливые шаги. Ужасный старухин крик всполошил весь дом, а, может-быть, и всю улицу.

Теперь по лестнице снизу бежали какие-то люди. Сергей заметался на площадке и снова, как и в первый раз, бросился на верхнюю чердачную лесенку. И там, у закрытой двери, присел, почти упал на ступеньки. Сердце его колотилось отчаянно. Не хватало воздуха. С разинутым ртом сидел Сергей Петрович на ступеньках и с ужасом прислушивался к тому, что происходило внизу.

Какие-то люди вбежали в квартиру, кто-то отчаянно визжал. И кто-то, сквозь рыдания, хрюкал.

Человек десять выбежали вдруг из квартиры и бросились вниз.

Выждав несколько минут, а, может-быть, и полчаса, Сергей Петрович стал спускаться с лестницы. Он медленно, почти задумчиво, положив руки назад, с полным и ледяным спокойствием прошел через двор и, не встретив никого, очутился на улице.

На улице, у ворот, толпились люди.

— Ну, что? — спросили Сергея Петровича. — Поймали?

Сергей Петрович промычал что-то в ответ и тихим шагом, слегка покачиваясь, пошел к своему дому.

Он, как тень, прошел в свою комнату. Потом пошел на кухню и поглядел на хозяйский будильник.

Было четверть девятого.

Сергей Петрович усмехнулся и, сняв пиджак и штаны, долго ходил по комнате в одних подштанниках. Он соображал, где именно он был в 7 часов вечера. И никак не мог решить.

Вдруг кровь ударила ему в голову. Он мысленно представил себе растерянное лицо девушки, ждущей его час и более.

Потом, снова усмехнувшись, Сергей Петрович лег на постель. Он спал беспокойно, часто мычал во сне и перекидывал подушку.

6

Сергей Петрович проснулся рано. Было часов семь утра.

Он сидел на постели в одних подштанниках и задумчиво зашнуровывал ботинок.

В этот момент постучали в дверь, и в комнату тихо вошла младшая старуха Белоусова.

Сергей Петрович страшно побледнел и встал с постели. Он дрожал, и зубы его отбивали барабанную дробь. Старуха замахала на него руками, заявив, что пусть он зря не стыдится своего вида, он вполне ей годится в правнуки, и что она на своем веку много перевидала мужчин в самых разнообразных подштанниках.

Старуха присела на табурет, скорбно высморкалась в головной платок и торжественно сказала, что сегодня под утро померла его тетка, Наталья Ивановна Тупицина.

Сергей Петрович сперва просто не понял, о чем идет речь. Он предполагал услышать от старухи кое-какие намеки и подозрения относительно вчерашнего происшествия, однако, старуха говорила о другом.

Но вот гостья, выждав для приличия несколько минут и безутешно всплакнув о безвременно погибшей тетке, принялась длинно и подробно рассказывать об ужасах вчерашнего налета.

Сергей Петрович снисходительно слушал, потом стал думать о своем.

Конечно, думал Сергей, можно бы пойти сейчас к Катюше и объяснить — вот, мол, вчера померла тетка. Так сказать, семейные обстоятельства не позволили вчера провести прилично время. Он, мол, сидел у постели умирающей родственницы.

Конечно, это можно сделать. Но вчерашнее волнение, вчерашние ужасные потрясения несколько притупили охоту Сергея Петровича. Он снова стал слушать старухину речь.

Старуха длинно и нахально врала о вчерашнем бандитском нападении, совершенно не предполагая, что перед ней сидит человек, кое-что знавший об этом деле. Старуха уверяла, что налетчиков было трое, и ими резко командовала одна женщина. И что кроме этих четырех был еще пятый — наводчик — совершенно безусый парень.

Тут Сергей Петрович несколько не выдержал и высказал предположение, что старуха, видимо, с перепугу, обмишурилась и приняла своего белоусовского родственника за безусого наводчика, а свою многоуважаемую сестрицу за атамана.

На что старуха с обидой заявила, что пущай он при себе оставит свои лишние сентенции, и что только ее находчивость и смелость не допустили разбойников разграбить имущество их, а также и Сергея Петровича.

Тут старуха подошла вплотную к наиболее острому и занимательному вопросу. Она деликатно повела речь об оставшемся наследстве.

Ах, да! Сергей Петрович с этими волнениями вовсе позабыл об этом наследстве. Это же прямо великолепно!

Снова бодрость и счастье охватили Сергея Петровича. Снова радужные перспективы и счастливые горизонты открылись перед ним. Он мысленно примерял теткин костюмы и жилеты. Он мысленно шел в новеньком пиджаке под руку с Катюшей Червяковой. Он

мысленно торговался с татаринном, загоняя ему всякое ненужное теткино барахло.

Долой унынье, долой меланхолию и слякоть! Да здравствуют бодрые слова, бодрые мысли, счастливые мысли, прекрасные желания! Как хорошо и отлично жить на свете. Как хорошо и какое счастье чувствовать жизнь такой, какая она есть, а не такой, как иной раз кажется.

Сергей Петрович чувствовал себя семнадцатилетним мальчиком. Он пустился бы в пляс, он пошел бы отплясывать фокстрот с младшей Белоусовой, если бы было прилично танцевать сразу после смерти родственников.

Сергей Петрович, вежливо попрощавшись со старухой, великосветски заявил, что он непременно будет сегодня на панихиде. Он не пойдет на службу. Он, конечно, сейчас же смотается до Катюши Червяковой и оставит ей прискорбное письмо с наилучшими извинениями. И потом пойдет отдать последний долг родственнице.

Сергей Петрович несколько даже заволновался. Он забоялся, как бы в последний момент старухи не почистили его наследство.

Он быстро присел к столу и, барабая пальцами, стал обдумывать текст письма.

Радость и счастье давили грудь и мешали сосредоточиться.

Сергей Петрович взглянул в окно и замер в полном восхищении. Вставало прелестное утро. Голубое небо и спокойные верхушки деревьев предвещали отличный день.

— Как хорошо жить, — бормотал Сергей, открывая форточку. — Как хорошо дышать утренней прохладой. Как хорошо любить какую-нибудь миловидную барышню.

Сергей Петрович решительно присел к столу. Он написал несколько слов Катюше с объяснениями и просьбой непременно прийти сегодня, в семь часов, в назначенное место. Он запечатал конверт, оделся и вышел на улицу.

Он шел с гордо поднятой головой. Вчерашний ужас и волнения отошли куда-то в вечность. Вчерашний маленькой страх перед жизнью исчез и сменился энергичным мужеством.

И в чем, собственно, дело? Да, действительно, вчера он немножко как-будто сдал. Вчера он слегка поволновался. Но все остается попрежнему. Прекрасная жизнь продолжается. И продолжается его веселое любовное приключение. За ним идут счастье и удача.

Сергей Петрович отдал письмо дворнику для передачи Катюше Червяковой и сам, глубоко вдыхая утреннюю прохладу, пошел легкой танцующей походкой к бывшей своей тетке.

Сергей пришел к самой панихиде. Старый батюшка тянул свою канитель. Старухи Белоусовы тихонько хрюкали, оплакивая свою последнюю жилицу. Но, вместе с тем, все это веяло яркой бодростью и повседневной жизнью.

Сама покойная тетка удобно расположилась на столе, на лучших кружевных наволочках. Спокойствие и счастье лежали на ее добродушном лице. Старуха была, как живая. Некоторый даже румянец пробивался сквозь ее желтую кожу. Казалось, как-будто она, устав, на минуту прилегла на столе и вот-вот, сейчас, отдохнув, встанет и скажет: „А вот и я, братцы мои“.

Сергей Петрович долго смотрел на нее добрыми глазами.

„Тетка, тетка, — думал он. — Экая ты, брат, тетка. Подохла-таки...“

Сергей Петрович стоял неподвижно, склонив голову. Он думал о кратковременной жизни и о непрочности человеческого организма и о том, что надо эту жизнь заполнить погуще всякими отличными делами и веселыми приключениями. И эти мысли не горем и меланхолией наполняли его сердце — на сердце его были мир и тишина.

И Сергей Петрович, не дождавшись конца панихиды, тихо поклонился неподвижной тетке и вышел из помещения.

Он пошел по коридору в комнату своей тетки. Там было все аккуратно прибрано. И ничто не говорило о смерти.

Сергей Петрович беглым взглядом оглядел комнату, прикинул на-глаз стоимость каждой вещицы. И насчитав до кругленькой суммы — 100 рублей, тихонько улыбнулся, вышел из комнаты и, закрыв дверь на ключ, пошел на улицу.

Он шел по улице и радостно смеялся. Солнце, не смотря на осень и несмотря на свои все растущие пятна, обжигало его всем своим стремительным пылом. Ветра никакого не было.

7

Вечером, в тот же день, Сергей Петрович встретился со своей дамочкой.

Она пришла несколько позже его. Он, волнуясь и подыскивая приличные слова, взял ее руки и тут же, на углу, стал объяснять причины вчерашнего отсутствия.

Да, он ни на одну минуту не мог уйти. Его родная тетка предпочитала помирать на его руках.

Он в сильных красках описывал теткину смерть. Засим перешел на описание оставленного имущества.

Девушка мило моргала ресницами и, добродушно усмехаясь, говорила, что вчера, действительно, она сильно разобиделась, но сегодня не высказывает никаких претензий.

Они, мило обнявшись, сидели в зрительном зале. И под стрекот аппарата, Сергей Петрович шептал ей всякие порядочные слова о своих чувствах и намерениях. Девушка благодарно пожимала ему руку и ногу и говорила, что он с первого взгляда ей приглянулся своей ровной внешностью.

После кино Сергей Петрович со своей мамзелью долго шлифовал тротуары. А немного попозже она посетила его скромное жилище.

Половина двенадцатого ночи Сергей Петрович выпускал ее от себя. Это видел гражданский инвалид Жуков.

Он в это время искал свою кошку на лестнице и слышал, как Сергей Петрович сказал: „в крайнем случае можно и записаться“.

Через две недели они записались.

А через полгода Сергей Петрович с молодой своей супругой выиграли 20 рублей по Крестьянскому Займу, доставшемуся им от бывшей тетки.

Радости их не было границ.

1926 г.

II

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эти две повести „Мудрость“ и „Люди“ написаны в 1924 году.

По-настоящему их не надо бы включать в эту книгу.

Одна повесть просто не подходит по своему содержанию, другая повесть написана скучновато, без творческого подъема и вдохновения.

В тот год автор заболел неврастенией. Тяжкие головные боли, бессонница, галлюцинации и дурное расположение духа мешали выполнить работу в полной силе.

Конечно, автор и сейчас еще болен неврастенией. Однако, не в такой степени, как в 24 году.

С прошлого года автор перестал ходить по врачам, перестал пить бром и кушать пилюли, снова нагрузил себя работой и начал тогда полегоньку поправляться. Вернее, автор сумел снова организовать свой характер и свою волю.

Так вот пуцай покупатель еще раз Христа ради простит автора.

Главное, что товару здесь почти на два печатных листа. Прямо, знаете, грустно бросить.

МУДРОСТЬ

Одиннадцать лет под ряд жил Иван Алексеевич Зотов уединенно и замкнуто. Он никуда не ходил, он совершенно перестал бывать в обществе и даже категорически порвал все прежние, короткие отношения со своими приятелями.

И, живя на одной из улиц Петербургской стороны, он казался каким-то чудаком — отшельником, случайно и на время поселившимся среди людей. Он все меньше и меньше стал разговаривать с людьми, а если и говорил, то брезгливая болезненная гримаса раздражения не сходила с его лица. Казалось, что человеку было невыносимо трудно всякое общение с людьми. И это была правда.

Кое-кто из прежних его приятелей говорили, будто Иван Алексеевич страдает хроническим катарром кишечника и нервными коликами, и будто бы болезнь эта наложила на него неизгладимый, скучный след. Другие приятели, знавшие Ивана Алексеевича еще короче и настроенные слегка романтически, уверяли, что, напротив — он здоров, как бык, но в жизни его произошла не то какая-то тайна, не то какая-то любовная интрига, которая скомкала и изменила ровное течение его жизни.

Впрочем, неизвестно, кто был прав. Может-быть, были правы обе стороны, тем более, что врач, пользовавшийся одно время Ивана Алексеевича, с улыбкой отговаривался незнанием, но категорически болезни не отрицал и при этом отделялся двусмысленными шуточками. А что касается до любовной стороны, то лю-

бовная сторона жизни Ивана Алексеевича не только была известна в области шуток, но и вполне достоверна.

В молодые годы был Иван Алексеевич красивый, полный брюнет с определенно ярким, южным темпераментом. При этом некоторая независимость в средствах позволяла Ивану Алексеевичу в достаточной мере пользоваться прелестью и утехами жизни.

И в разгульной своей жизни он сошелся по пьяной лавочке с одной пустенькой драматической актрисой, но связь эта, длящаяся с полгода, была несчастлива. Повздорив из-за своей дамы с одним лицеистом, который при многочисленных свидетелях обозвал ее шкуррой, Иван Алексеевич ударил его по морде в фойе академического театра, при этом сбил с носа пенснэ и разбил ухо. Результатом была дуэль, которая и состоялась на пулях вблизи комендатского аэродрома. Раненый слегка в мякоть левой ноги, Иван Алексеевич уехал из Петербурга на несколько лет. Потом вернулся. Год или два жил чрезвычайно разгульно, предаваясь по временам нестерпимому пьянству и разврату. И, наконец, стих. И, поселившись на Петербургской стороне, с дальней своей родственницей, старушкой Капитолиной Георгиевной Шнель, перестал показываться.

Но зачем это он сделал, почему, кому было нужно его уединение — никто не знал. Знали только, что жил человек, и вдруг все в жизни показалось ему жалким и ненужным. Все лучшие человеческие качества, как, например: благородство, гордость, тщеславие — показали смешной забавой и бирюльками. А вся прелесть прежнего существования — любовь, нежность, вино — стала смешной и даже оскорбительной.

Но было ли это на почве физиологической, так сказать, от пресыщения, или же было это в связи с душевными отклонениями — никто не знал, и не мог знать, ибо с каждым годом разрыв его с людьми увеличивался.

Его квартира, уставленная различной мебелью, увешанная люстрами и всевозможными дорогими безде-

лушками, вскоре затянулась паутиной и пылью. И цветы, некогда поставленные на окнах, — завяли. И огромные мозеровские часы остановили свое движение. Даже полуопущенная штора в столовой так и оставалась полуопущенной в течение нескольких лет.

Какое-то веяние смерти сообщилось всем вещам. На всех предметах, даже самых пустяковых и незначительных, лежали тление и смерть, и только хозяин квартиры по временам подавал признаки жизни. Он вставал со своего ложа, ходил из угла в угол, сося папироску, или, согнувшись и покачивая левой ногой, сидел перед толстенной книгой, или, наконец, открыв форточку и не боясь простудиться и схватить воспаление в легких, смотрел на звездное небо, держа перед собой карту небесного свода.

И так тянулось почти одиннадцать лет.

2

Но однажды, без всякой видимой причины, в жизни Ивана Алексеевича произошли чрезвычайные перемены.

Однажды, проснувшись поутру, он почувствовал в себе какой-то прилив необыкновенной свежести и здоровья. Он с удивлением и недоверчивостью отнесся к этому и, наскоро одевшись и зашнуровав ботинки, вышел на улицу, сохраняя по старой привычке прежнее брезгливое выражение лица.

И странное дело: все на улице показалось ему приветливым и умилительным. Недоумевая, Иван Алексеевич вернулся домой. Доброе состояние его не покидало и дома.

Привыкнув думать и анализировать свои поступки и движения, Иван Алексеевич, еще не изменяя на лице гримасу, принялся решать, что в сущности произошло. Но не знал.

Тогда, цинически смеясь, он попытался уверить себя в каком-то физическом перерождении, тем более, что условия к тому были благоприятны — в течение один-

надцати лет, после разгула и пьянства, он вел спокойную, размеренную жизнь.

Но это было не совсем так. Вернее, это было именно так, но, на ряду с этим, было нечто иное.

Тогда, обдумывая и поражаясь, Иван Алексеевич вдруг понял, что совершенно помимо его воли вместе с бодростью к нему вернулась та прелесть существования, которую он потерял одиннадцать лет назад.

Раньше он с горечью стал бы обдумывать, как, в сущности, унижительна для человека такая анатомическая зависимость, но теперь ему было все равно. Он чувствовал в себе радость; ему были приятны и серое тусклое небо, и дым из трубы, и кошка на крыше, и мухи, назойливо присаживающиеся то на его лоб, то на нос. Он не сгонял их даже и, в добром состоянии духа, весело подсмеивался и хлопал себя по коленям. Все, что раздражало его — исчезло.

В несколько дней Иван Алексеевич совершенно переродился.

Он просыпался теперь с улыбкой, шутил сам с собой, и, надевая костюм или зашнуровывая ботинки, пел вполголоса, стыдясь и радуясь своему оживлению.

А однажды, позвав к себе в комнату дальнюю родственницу, старушку Капитолину Георгиевну Шнель, он принялся ей говорить о том, как в сущности хороша и прекрасна жизнь, и как он был нестерпимо глуп, что ханжески потратил одиннадцать лет неизвестно на что.

И, говоря об этом, он жестикулировал руками, подходил к зеркалу и, причесывая свои давно нетронутые волосы, смеялся.

— Ах, — говорил он, — как я был глуп! Как глуп! Ну, кому радость оттого, что я не брит, и волосы мои до плеч? Кому это нужно, чтоб я презирал людей и весь мир, и все существование? Да! Никому не нужно. Но я теперь знаю, как жить. Я сумею теперь жить. Мудрость не в том, чтобы людей презирать, а в том, чтобы делать такие же пустяки, как и они: ходить к парик-

махеру, суетиться, целовать женщин, пить, покупать сахар. Вот мудрость!

Дальняя родственница, ничего не поняв на старости лет, сморкаясь в платок, ушла из комнаты, не зная, плакать ли ей, или радоваться.

Но Иван Алексеевич не оставил ее в неведении. Он снова и за руку привел ее в комнату и стал умолять ее, чтобы она, несмотря на дальнейшее родство, честно и открыто сказала бы ему, как он выглядит, не очень ли он осунулся и похудел, не очень ли стал безобразен, и может ли снова, как равный, войти в общество. При этом, страшно конфузясь, он широко открывал свой рот, показывая указательным пальцем на недостающий зуб.

Слегка развеселившаяся старушка утешала его чем могла, говоря, что вид вполне еще бодрый и свежий, а что отсутствие зуба вовсе даже и совершенно незаметно, если не открывать рта.

Тогда Иван Алексеевич принялся хохотать, потирая свои руки и вспоминая, как и он был молодцом и задирой в свое время, как лихо он дрался на дуэли, и сколько имел любовниц.

Старушка, не желая нарушать его бодрого настроения, принялась также рассказывать приключения о любви из собственной жизни, но вспомнив начало, она никак не могла восстановить конца, и, спутавшись окончательно, обиженно замолчала, стараясь больше ничем не раздражать Ивана Алексеевича.

Но Иван Алексеевич не оставил ее в покое. Он стал вместе с ней вспоминать о своих знакомых, оставшихся в живых. Ему хотелось немедленно, в ближайшее же время позвать их всех к себе, устроить маленькую веселую пирушку, перецеловать всех и сказать, что он их как и раньше, что он попрежнему всех любит и хочет жить, потому что он знает теперь, что такое жизнь, и как нужно жить.

И, взяв дальнюю родственницу за руку, Иван Алексеевич категорически сказал ей, что он в ближайшие

же дни устроит эту пирушку — праздник своего обновления.

С трудом понимая, что он говорит ей, старушка хитро трясла головой, говоря, что, несмотря на дальнюю кровь и родство, он все же весь пошел в нее.

Иван Алексеевич тихо и благодарно смеялся.

3

В тот же день вечером Иван Алексеевич принялся составлять список своих знакомых, смеясь и добродушно издеваясь над ними.

Наконец список был составлен. Было записано пятнадцать человек, о которых Иван Алексеевич знал, что они живы и попрежнему благополучно здравствуют в городе.

Тогда Иван Алексеевич, имея перед собой список, стал писать в витиеватых, смешливых тонах приглашительные записки, которые, на другой же день, он лично повез развозить по своим приятелям.

Приятели встречали его крайне удивленно и холодно, а некоторые даже враждебно, не приглашая его в комнаты и держа дверь на цепочке. Приятеля предполагали, что он, обнищав, явился к ним за денежным пособием или вспоможением, кто чем может, но, узнав истинную причину, делали круглые глаза и дьявольски хохотали, и иные весело подмигивали, теребили его за плечи и обещали непременно быть.

Иван Алексеевич сам хохотал, стараясь при этом не слишком открывать рот, дабы пока никто не заметил в нем отсутствие зуба. Но друзья не замечали. Они рассказывали всякие веселые сплетни и новости, веселились над тем или иным лицом, а Иван Алексеевич поддакивал, кивал головой и всячески иронизировал над собой, желая этим показать, что он попрежнему молодец и веселый парень.

И в самом деле: ему казалось, что он искренно весел и радостен, и что одиннадцать лет — это какой-то

нелепый и ненужный сон, о котором просто-напросто не нужно думать.

От приятелей Иван Алексеевич пошел домой совершенно радужный и помолодевший. Он несколько раз по дороге заходил к парикмахеру, требуя устроить ему то одну, то другую прическу, категорически приказывая одеколону и туалетных вод не жалеть.

И, вернувшись домой, он тотчас же, слегка покушав, облачился в старый костюм, снял паутину и пыль со всех углов, вытер полусырой тряпкой все карнизы, а также и двери, и этажерки и повесил в спальней зеленоватый фонарь.

Несмотря на это, работы предстояло еще много. Нужно было перебрать все книги, убрать с окна сухие цветы, и придать всей квартире жилой и уютный вид.

Чуть не падая от усталости, Иван Алексеевич бросался в кресло, потом снова вскакивал, хватаясь то за то, то за другое, время от времени восклицая:

— Ах как я был глуп! Как глуп!

И, перетаскивая с места на место то или иное кресло и поправляя без нужды скатерть на столе, или перебирая книги, Иван Алексеевич тихонько смеялся и потирал руки, говоря:

— Такова жизнь!

Потом снова бросался в кресло, снова звал старушку, тербил ее и почти торжественно рассказывал, как он заживет в дальнейшем умудренный жизненным опытом.

Дальняя родственница тоже не отставала от него. Она помогала ему перетаскивать мебель, она доставала посуду и в сотый раз спрашивала:

— Когда же?

Подразумеваемая под этим — вечер.

И Иван Алексеевич гордый и утомленный отвечал:

— Завтра! Завтра, многоуважаемая Капитолина Георгиевна.

И вот пришло завтра — торжественный день вечеринки, праздник обновления.

Еще с утра, тщательно побрившись, Иван Алексеевич мотался из угла в угол, наводя последний, ослепительный лоск на каждый предмет.

И к полдню все было готово.

Дальняя родственница Ивана Алексеевича, старушка Шнель, достала для себя из сундука слежавшееся от времени, но еще вполне пристойное, темное шанженевое платье со старинными рюшками и многочисленными фестонами, и надела его. Острый запах нафталина и давно нетронутой материи наполнил всю квартиру. Старушка, поминутно чихая и дергая головой, переходила из комнаты в комнату, наполняя нестерпимым зловонием небольшую квартиру.

У старушки мелькала мысль, что неплохо было бы снять это торжественное платье, но она не хотела огорчить Ивана Алексеевича, которому к тому же было не до запаха. В самом деле: ни минуты не оставаясь спокойным, Иван Алексеевич бегал из прихожей в столовую, из столовой в кухню и обратно. Он даже самолично и несколько раз спускался на улицу, ходил по магазинам и покупал все новые и новые вещи, прося отпустить самого лучшего качества, намекая, что у него предстоит торжественная вечеринка. А еще недавно, заходя в тот же магазин и покупая что-либо, он скупно бросал несколько слов и, взяв покупки, молча уходил, высоко подняв воротник. Теперь же, напротив, он медлил в магазине, разговаривая и смеясь с любимым, невзрачным на вид, приказчиком. Ему хотелось, чтобы каждый, даже посторонний гражданин, знал бы о его торжестве.

Весь день проходил в невероятной суете и оживлении.

А к вечеру, когда сумерки наполнили комнату, Иван Алексеевич зажег свет и принялся убирать стол. Раздвинув его на двенадцать персон и постелив белоснежную скатерть, он стал украшать и раздраконивать его, вспоминая, как это делалось раньше.

И вскоре чисто мытые тарелки, ножи, рюмки и всевозможные изысканные блюда давили своей тяжестью стол. Тут была и икра всех сортов, и малосольная семга, и сижки копченые, и английские паштеты из дичи, и прочая снедь. И среди всего этого, гордо оттеснив закуску, стояли бутылки разных вин.

Когда все это было готово, Иван Алексеевич, утомленный и вспотевший, присел к столу, придвинув для этой цели стул. Руки Ивана Алексеевича дрожали, и грудь вздымалась высоко и порывисто. Он хотел слегка отдохнуть за полчаса до гостей, но ему не удалось. Ему казалось, что не все еще сделано. Ребяческая улыбка не сходила с его лица. Тогда, смеясь и кривляясь, он достал из ящика письменного стола цветную, тонкую бумагу, из которой некогда делались цветы, взял ножницы и стал вырезать ровные полосы, делая из них нечто в роде цветов. Потом, свернув их вместе пушистым букетом, он стал прилаживать к хвосту жареной тетерки. Получилось, действительно, крайне эффектно, и стол от этого только выиграл.

Тогда, взяв еще лист розовой бумаги, Иван Алексеевич хотел то же самое проделать и с окороком ветчины и уже стал вырезать, как вдруг, неосторожным движением руки, обронил ножницы на пол. Нагнувшись моментально за ними и коснувшись уже пальцами холодной стали, он почувствовал, как какая-то тяжелая, густая волна крови прилила ему к лицу. Тряхнув слегка головой, он хотел выпрямиться, но захрипел и ничком свалился на пол, зацепив ногой за стул, далеко и гулко отодвинув его.

Странная, ровная синева прошла откуда-то снизу и спокойно покрыла его лицо.

Вбежавшая на шум дальняя родственница, старушка Шнель, констатировала смерть, последовавшую от удара.

Потрясенная, с дрожащими руками, старушка метнулась к столу, потом к умершему и, не зная, что ей предпринять, замерла в одной позе.

И вот — ярко освещенная комната, стол, уставленный всевозможными явствами, и у стола, лицом в пол, у самых ножниц, Иван Алексеевич. На это невозможно было долго смотреть, и нечеловеческим усилием воли, взяв умершего за плечи, старушка поволокла его в соседнюю комнату. Цепляя ногами за стулья и странно раскидывая руками и стуча головой об пол, Иван Алексеевич с трудом поддавался усилиям старухи.

И наконец, втащив его в спальню и прикрыв простыней, старушка, накинув на плечи черную косынку, вышла в столовую. И в столовой снова замерла в неподвижной позе, дожидаясь гостей.

И вот, ровно в восемь, раздался звонок. Старуха не двигалась. И тогда, открыв незапертую дверь, в комнату вошли, подталкивая друг друга, два приятеля, страшно хохоча и гремя сапогами. И, увидев странную старуху, поклонились ей, и, морщась от нестерпимого запаха нафталина, спросили, где же хозяин, и как он здравствует.

На что старуха, как-то конфузясь и почти не открывая рта, отвечала:

— Он умер.

— Как? — вскричали они в один голос.

Тогда старуха пальцем показала им на запертую дверь в соседнюю комнату. И они поняли.

Они, тихо поахав и потолкавшись у стола, ушли на цыпочках, съев по куску семги.

Старуха оставалась почти неподвижной.

Вслед за ними от восьми до девяти приходили все приглашенные. Они входили в столовую, радостно по-

тирая руки, но, узнав о смерти, тихонько ахали, поднимая удивленно плечи и уходили, стараясь негромко стучать ногами. При этом, проходя мимо стола, дамы брали по одной груше или по яблоку, а мужчины кушали по куску семги или выпивали по рюмке малаги.

И только один из старых приятелей и ближайший друг Ивана Алексеевича, странно заморгав глазами, спросил:

— Позвольте, как же так? Я нарочно не пошел в театр, чтобы не обидеть своего друга и— вот... К чему же тогда звать? Позвольте, как же так?

Он ковырнул вилкой в тарелку с семгой, но, поднеся ко рту кусок, отложил его обратно и, не прощаясь со старухой, вышел, бормоча что-то под нос.

И, когда ушел пятнадцатый гость, старушка вошла в соседнюю комнату и, достав из комода простыню, завесила ею зеркало. Потом, достав с полки Евангелие, принялась вслух читать, покачиваясь всем корпусом, как от зубной боли.

И голос ее, негромкий и глухой, прерывался и дрожал.



Л Ю Д И

Странные вещи творятся в литературе! Нынче если автор напишет повесть о современных событиях, то такому автору со всех сторон уважение. И критики ему рукоплещут, и читатели ему сочувствуют.

А уж если такой автор изловчится да приплетет к своей повести общественный мотив или социальную какую-нибудь идейку, то такому автору и слава, и популярность, и всякое уважение. И портреты такого автора печатают во всех еженедельных органах. И издатели расплачиваются с ним в золоте, не менее, как по ста рублей за лист.

А на наш ничтожный взгляд, по ста рублей за лист, это уж явная и совершенная несправедливость!

В самом деле: для того, чтобы написать повесть о современных событиях, необходима соответствующая география местности, то-есть пребывание автора в крупных центрах или в столицах республики, в которых-то, главным образом, и происходят исторические события.

Но не у каждого автора есть такая география, и не каждый автор имеет материальную возможность существовать с семьей в крупных городах и в столицах.

Вот тут-то и есть камень преткновения и причина несправедливости.

Один автор проживает в Москве и, так сказать, воочию видит весь круговорот событий с его героями и вождями, другой же автор, в силу семейных обстоятельств, влачит жалкое существование в каком-нибудь

уездном городишке, где ничего такого особенно героического не происходило и не происходит.

Так вот, где же взять такому автору крупные мировые события, современные идеи и значительных героев?

Или прикажете ему врать? Или прикажете питаться вздорными и неточными слухами приезжающих из столицы товарищей?

Нет, нет и нет! Автор слишком любит и уважает художественную литературу, чтобы основывать ее на всевозможных бабьих глупостях и непроверенных слухах.

Конечно, какой-нибудь просвещенный критик, лепечущий на шести иностранных языках, укажет, может быть, что автор отнюдь не должен гнушаться мелкими героями и небольшими провинциальными сценками, которые происходят вокруг него. И что даже еще и лучше зарисовывать небольшие, красочные этюды с маленькими провинциальными человечками.

Эх, уважаемый критик! Оставьте делать ваши нелепые замечания! Все и без вас давно продумано, все, может, улицы исхожены, и несколько пар сапог истрепано. Все, может, фамилии, более или менее достойные внимания, вынесены на отдельную бумажку с разными примечаниями и нотабенами. И нет! Не только нету сколько-нибудь замечательного героя, но нету даже посредственного человека, о котором интересно и поучительно говорить. Все мелочь, мелюзга, мелкота, о которых в изящной литературе, в современном героическом плане и говорить не приходится.

Но, конечно, автор все-таки предпочтет совершенно мелкий фон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями, нежели он пустится во все тяжкие и начнет заливать пулю насчет какого-нибудь совершенно несуществующего человека. Для этого у автора нет ни нахальства, ни особой фантазии.

Автор, кроме того, причисляет себя к той единственной честной школе натуралистов, за которыми все будущее русской изящной литературы. Но даже, если бы

автор и не причислял себя к этой школе, все равно, говорить о незнакомом человеке — затруднительно. То перехватишь через край и заврешься в психологическом анализе, то, наоборот, не доскажешь какой-нибудь мелочишки, и ч татель встанет втупик, удивляясь легкомысленному суждению современных писателей.

Так вот, в силу вышеуказанных причин, а также вследствие некоторых стеснительных материальных обстоятельств, автор приступает к написанию современной повести, предупреждая, однако, что герой повести — пустяковый и неважный, недостойный, может-быть, внимания современной, избалованной публики. Здесь речь идет, как наверное догадывается читатель, об Иване Ивановиче Белокопытове.

Автор ни за что не стал бы растрчивать на него свое симпатичное дарование, еслиб не потребность в современной повести. Потребность эта заставляет автора, скрепя сердце, взяться за перо и начать повесть о Белокопытове.

Это будет несколько грустная повесть о крушении всевозможных философских систем, о гибели человека, о том, какая, в сущности, пустяковая вся человеческая культура, и о том, как нетрудно ее потерять.

В этой плоскости Иван Иванович Белокопытов был даже любопытен и значителен. В остальном автор советует читателю не придавать большого значения и, тем паче, не переживать с героем его низменных, звериных чувств и животных инстинктов.

Итак, автор берется за перо и приступает к современной повести.

Действующих лиц в повести будет не так-то уж много: Иван Иванович Белокопытов, худощавый, тридцати семи лет, беспартийный. Его жена, Нина Осиповна Арбузова, — смугловатая, цыганского типа дамочка, из балетных. Егор Константинович Яркин, тридцати двух лет, заведывающий первой городской хлебопекарней. И, наконец, уважаемый всеми, начальник станции, товарищ Петр Павлович Ситников.

Есть и еще в повести несколько эпизодических лиц, как, например: Катерина Васильевна Коленкорова, тетка Пепелюха и станционный сторож и герой труда Еремеич — лица, о которых заранее говорить — много чести.

Кроме человеческих персонажей в повести выведена еще небольшая собачка, о которой говорить, конечно, не приходится.

2

Фамилия Белокопытовых — старая, дворянская и помещичья фамилия. В те годы, о которых идет речь, фамилия эта сходилась на-нет, и Белокопытовых было всего двое: отец Иван Петрович и отпрыск его Иван Иванович.

Отец, Иван Петрович, очень богатый и представительный мужчина, был несколько странный и чудаковатый господин. Слегка народник, но увлекающийся западными идеями, он то громил мужиков, называя их сволочами и человеческими отребьями, то замыкался в своей библиотеке и жадно читал таких авторов, как Жан-Жак Руссо, Вольтер или Бодуэн-де-Куртенэ, восхищаясь их свободомыслием и независимостью взглядов.

И, несмотря на это, отец Иван Петрович Белокопытов нежно любил сельскую жизнь, спокойную и ровную, любил парное молоко, которое поглощал в каком-то изумительном количестве, и увлекался верховой ездой. Он ежедневно выезжал верхом на прогулку, любуясь красотами природы или журчащим говором какого-нибудь лесного ручейка.

Умер отец Белокопытов еще молодым, в полном расцвете своих сил. Его задавила собственная лошадь.

В один из ясных, летних дней, собравшись на обычную свою верховную прогулку, он стоял, совершенно одетый, у окна столовой комнаты, нетерпеливо дожидаясь, когда подадут ему лошадь. Молодцоватый и красивый, в серебряных шпорах, он стоял у окна, раздраженно помахивая стэком с золотым набалдашником. Тут же и сынишка, молодой Ваня Белокопытов, рез-

вился вокруг своего отца, беспечно приплясывая и играя колесиками его шпор.

Впрочем, резвился молодой Белокопытов значительно раньше. В год смерти отца ему было за двадцать лет, и он был уже возмужавшим юношей с первым пушком на верхней губе.

В тот год он, конечно, не мог резвиться. Он стоял возле отца и убеждал его отказаться от поездки.

— Не поезжайте, папаша, — говорил молодой Белокопытов, предчувствуя недоброе.

Но молодцоватый папаша, подкрутив усы и махнув рукой, — дескать, пропадать, так пропадать, — пошел вниз, чтобы дать вздрючку замешкавшемуся конюху.

Он вышел на двор, сердито вскочил на поданную ему лошадь и, в крайнем раздражении и гневе, дал шпоры.

Видимо, это и было его гибелью. Разъяренное животное понесло и верст за пять от имения сбросило Белокопытова, разможив ему череп о камни.

Молодой Белокопытов стойко выдержал известие о гибели своего отца. Приказав сначала продать эту лошадь, он оттянул это решение и, лично войдя в конюшню, пристрелил животное, вложив револьвер в ухо. Затем он заперся в доме, горько оплакивая гибель своего отца. И только через несколько месяцев приступил снова к прежним своим занятиям. Он изучал испанский язык и под руководством опытного педагога делал переводы с испанских авторов. Но, кроме испанского языка, он занимался еще и латынью, роясь в старинных книгах и рукописях.

Другой бы на месте Ивана Ивановича, оставшись единственным наследником богатейшего состояния, плюнул бы на всю эту испанскую музыку, погнал бы учителей в три шеи, завил бы горе веревочкой, запил бы, закрутил, заразвратничал, но, к сожалению, не таков был молодой Белокопытов. Он повел жизнь такую же, как и раньше.

Всегда богатый и обеспеченный, не знающий, что такое материальное стеснение, он равнодушно и пре-

зрительно относился к деньгам. А тут еще, начитавшись либеральных книг с пометками своего отца, он и вовсе стал пренебрежительно относиться к своему огромному состоянию.

Разные тетушки, узнав о смерти отца Белокопытова, понаехали в имение со всех концов света, рассчитывая — не перепадет ли и им кусочка. Они льстили Ивану Ивановичу, прикладывались к его ручке и восторгались его мудрыми распоряжениями.

Но однажды, собрав всех своих родственников в столовую, Иван Иванович заявил им, что он считает себя не в праве владеть полученным состоянием. Он считает, что наследство — вздор и ерунда, и что каждый человек самостоятельно должен делать свою жизнь. И он, Иван Иванович Белокопытов, находясь в здравом уме и твердой памяти, отныне отказывается от всего имущества, с тем, что он сам распределит его различным учреждениям и неимущим частным лицам.

Родственнички в один голос ахали и охали и, восторгаясь необыкновенным великодушием Ивана Ивановича, говорили, что, в сущности, они и есть эти самые неимущие частные лица и учреждения. И Иван Иванович, выделив им почти половину своего состояния, распрощался с ними и принялся ликвидировать свою недвижимость.

Он быстро и за бесценок распродал свои земли, разбазарил и частью роздал мужикам домашнюю утварь и скотину и, все еще с крупным состоянием, переселился в город, наняв у простых, незнакомых ему людей две небольшие комнатухи.

Кой-какие далекие родственники, проживавшие в ту пору в городе, сочли себя оскорбленными и прекратили с ним всякие отношения.

И, поселившись в городе, Иван Иванович никак не изменил своей жизни и привычек. Он попрежнему продолжал изучение испанского языка, в свободное время широко занимаясь благотворительностью.

Огромные толпы нищих осаждали квартиру Ивана Ивановича. Разные прощальги, жулики и авантюристы,

в порядке живой очереди, входили теперь к нему с просьбой о вспоможении.

Почти никому не отказывая и жертвуя, кроме того, большие суммы различным учреждениям, Иван Иванович в короткое время разбазарил половину оставшегося у него имущества. Он сошелся, кроме того, с какой-то революционной группой людей, всячески их поддерживая и помогая. Был слушок даже, что он передал группе почти все оставшиеся свои деньги, но насколько это правда, — автор не берется утверждать. Во всяком случае Белокопытов был замешан в одно революционное дело.

Автор был тогда занят своими поэтическими и семейными делами и сквозь пальцы смотрел на общественные события, так что кое-какие подробности от него ускользнули. Автор издавал в тот год первую книжонку своих стихов под названием — „Букет резеды“. В настоящее время автор, конечно, не назвал бы свои поэтические опыты таким мизерным и сентиментальным заглавием. В настоящее время автор попытался бы эти стишки объединить какой-нибудь отвлеченной философской идеей и назвать книжку соответствующим заглавием, как, например, названа и объединена эта повесть огромным и значительным словом — „Люди“. Но, к сожалению, автор тогда был молод и неопытен. Впрочем, книжка все-таки была не плохая. Отпечатанная на лучшей меловой бумаге в количестве трехсот экземпляров, она, за четыре с небольшим года, разошлась окончательно, до последнего экземпляра, подарив автору некоторую известность среди горожан.

Неплохая была книжонка.

А что касается до Ивана Ивановича, то он, действительно, несколько запутался в обстоятельствах. Какой-то курсистке, приговоренной к ссылке на поселение, он, в припадке великодушия, подарил ильковую шубу.

Эта шуба наделала хлопот Ивану Ивановичу. Он был взят под подозрение, и за ним был устроен негласный надзор. Его подозревали в сношениях с революционерами.

Иван Иванович, человек нервный и впечатлительный, ужасно взволновался тем, что за ним следят. Он буквально хватался за голову, говоря, что он не может жить больше в России, в этой стране полудиких варваров, где за человеком следят, как за зверем. И Иван Иванович давал себе слово, что он непременно в ближайшее же время все распродаст и уедет за границу, как политический эмигрант, и что ноги его больше не будет в этом стоячем болоте.

И, приняв такое решение, он немедленно принялся ликвидировать свои дела, торопясь и беспокоясь, что его схватят, арестуют или не разрешат выезда. И быстро закончив свои дела и оставив себе незначительные деньги на жительство, Иван Иванович Белокопытов в один из осенних, пасмурных дней выехал за границу, проклиная свою судьбу и себя за великодушие.

3

Как жил и что делал Иван Иванович за границей, никому неизвестно.

Сам Иван Иванович об этом никогда не упоминал, автор же просто не рискует сочинять небылицы о тамошней иностранной жизни.

Конечно, какой-нибудь опытный сочинитель, дорвавшись до заграницы, непременно бы тут пустил пыль в глаза читателям, нарисовав им две или три европейские картинки с ночными барами, с шансонетками и с американскими миллиардерами.

Увы! Автор никогда не ездил по заграницам, и жизнь Европы для него темна и неясна.

Автор поэтому с некоторым сожалением и грустью и с некоторой даже виной перед читателями должен пропустить по крайней мере десять или одиннадцать лет заграничной жизни Ивана Ивановича Белокопытова, чтоб окончательно не завратиться в мелких деталях незнакомой жизни.

Но пусть читатель успокоится. Ничего замечательного за эти десять лет в жизни нашего героя не было.

Ну — жил человек за границей, ну — женился там на русской балетной танцовщице . . . Что же еще? Ну — поистратился, конечно, вконец. А в начале русской революции вернулся в Россию. Вот и все.

Конечно, все это можно было бы раздраконить в лучшем, в более заманчивом виде, но опять-таки, по причинам выше указанным, автор оставляет все, как есть. Пускай другие писатели пользуются красотой своего слога — автор человек не тщеславный — как написал, так и ладно. Лавры других знаменитых писателей автору не мешают жить. Так вот, уважаемый читатель, вот все, что случилось с Белокопытовым за десять лет.

Впрочем, не все.

За границей в первые годы Иван Иванович принялся писать книгу. Он уже приступил к этой книге, назвав ее: „О революционных возможностях в России и на Кавказе“. Однако, сначала мировая война, затем революция сделали эту книгу ненужным, вздорным хламом.

Но Иван Иванович не очень горевал об этом, и на третий или на четвертый год революции вернулся в Россию, в свой город.

Автор с этого момента и приступает к повести. Тут-то уж автор чувствует себя молодцом и именинником. Тут-то уж автор крепок и непоколебим. И не заврется. Эта вам не Европа. Все здесь шло на глазах автора. Всякая мелочь, всякое происшествие автору доподлинно известно или рассказано и получено из первых и уважаемых рук.

Итак, автор начинает свою повесть во всех подробностях только со дня приезда Ивана Ивановича в наш многоуважаемый город.

Это была прелестная весна. Снег уже почти весь стаял. Птицы носились по воздуху, приветствуя своими криками долгожданную весну. Однако, без галош еще нельзя было ходить — местами грязь достигала колена и выше.

В один из таких прелестных весенних дней вернулся в свои родные места Иван Иванович Белокопытов.

Это было днем.

Несколько пассажиров мотались по платформе из стороны в сторону, с нетерпением ожидая поезда. Тут же стоял и уважаемый всеми начальник станции, товарищ Ситников.

А когда подошел поезд — из переднего мягкого вагона вышел худощавый человек в мягкой шляпе и в узконосых ботинках без галош.

Это и был Иван Иванович Белокопытов.

Одетый по-европейски, в отличном широком пальто, он небрежной походкой сошел на платформу, выкинув предварительно с площадки вагона два прекрасных желтоватой кожи чемодана с никкелированными замками. Затем, обернувшись назад и подав руку смугловатой, цыганского типа дамочке, он помог ей сойти.

Они стояли теперь возле своих чемоданов. Она, с некоторым испугом озираясь по сторонам, он же, улыбаясь и дыша полной грудью, глядел на отходящий поезд.

Поезд давно уже отошел — они стояли, не двигаясь. Куча ошалелых мальчишек, свистя и шлепая босыми ногами, набросилась на чемоданы, теребя их грязными лапами и предлагая тащить их хоть на край света.

Подошедший носильщик, старый герой труда Еремеич, отогнав мальчишек, укоризненно стал рассматривать захватанную руками светло-желтую кожу чемоданов. Затем, взвалив их на плечи, Еремеич двинулся к выходу, предлагая этим следовать приезжим за ним и не стоять полустому.

Белокопытов пошел за ним, но у выхода, под крыльцом, позади станции, приказал Еремеичу остановиться. И, остановившись сам, он снял шляпу и приветствовал свой родной город, свое отечество и свое возвращение.

И, стоя на ступеньках вокзала, он с мягкой улыбкой глядел на вдаль уходящую улицу, на канавы с мосточками, на маленькие деревянные дома, на сероватый дымок из труб... Какая-то тихая радость, какой-то восторг приветствия был на его лице.

Он долго стоял с непокрытой головой. Мягкий весенний ветер трепал его немножко седеющие волосы. И, думая о своих скитаниях, о новой жизни, о тех идеях, которые осуществились сейчас, Белокопытов стоял неподвижно, вдыхая всей грудью свежий воздух.

И ему хотелось вот сейчас, тотчас, куда-то итти, что-то делать, что-то создавать, какое-то важное и всем нужное. И он чувствовал в себе необыкновенный прилив юношеской свежести и крепости и какой-то восторг. И тогда ему хотелось низко поклониться родной земле, родному городу и всем людям.

Между тем его супруга, Нина Осиповна Арбузова, стоя позади его и язвительно глядя на его фигуру, нетерпеливо постукивала о камни концом зонтика. Тут же, несколько поодаль, стоял Еремеич, согнувшись под двумя чемоданами, не зная, поставить ли их на землю и тем самым загадить грязью их ослепительную поверхность, или же держать их на спине и ждать, когда прикажут ему нести. Но Иван Иванович, обернувшись, любезно попросил не утруждать себя тяжестью и поставить ношу, хотя бы в самую грязь. Иван Иванович даже сам подошел к Еремеичу и, помогая ему поставить чемоданы на землю, спросил:

— Ну, как вообще? Как жизнь?

Несколько туповатый и лишенный всякой фантазии, Еремеич, не привыкший к тому же к таким отвлеченным вопросам и переносивший на своей спине до пятнадцати тысяч чемоданов, корзин и узлов, отвечал простодушно и грубо:

— Живем, хлеб жуем...

Тогда Белокопытов принялся расспрашивать Еремеича о более реальных вещах и событиях, интересуясь где то или иное лицо, и какие изменения произошли в городе. Но Еремеич, проживший безвыездно пятьдесят шесть лет в своем городе, казалось, впервые слышал от Белокопытова фамилии, имени и даже названия улиц.

Сморкаясь и обтирая рукавом вспотевшее лицо, Еремеич то принимался брать чемоданы, желая этим

показать, что пора двигаться, то вновь ставил их на место, беспокоясь, что опоздает к следующему поезду.

Нина Осиповна нарушила их мирную беседу, язвительно спросив, намерен ли Иван Иванович тут остаться и тут жить на лоне природы, или же у него есть еще кой-какие планы.

Говоря так, Нина Осиповна сердито стучала туфлей о ступеньки и скорбно сжимала губы.

Иван Иванович принялся что-то отвечать, но тут на шум вышел из помещения уважаемый всеми товарищ Петр Павлович Ситников. За ним следовал дежурный агент уголовного розыска. Но увидя, что все обстоит благополучно, и что общественная тишина и спокойствие ничем не нарушаются, и ничего, в сущности, не случилось, кроме как семейных споров с постукиванием дамской туфли о ступеньки, Петр Павлович Ситников повернулся было назад, но Иван Иванович догнал его и, спросив, помнит ли он его, стал трясти ему руки, крепко пожимая и радуясь.

Не теряя своего достоинства, Ситников сказал, что он, действительно, что-то припоминает, что физиономия Белокопытова как-будто ему знакома, но насколько это верно, доподлинно не знает и не помнит.

И, отговариваясь служебными делами и пожимая Белокопытову руку, удалился, рукой приветствуя незнакомую смуглую даму.

За ним шел и дежурный агент, спросив Белокопытова о международной политике и о событиях в Германии. Агент молча выслушал речь Белокопытова и, кивнув головой, отошел, приказав Еремеичу возможно далее от входа чемоданы, для того чтобы проходящие пассажиры не поломали себе ног.

Еремеич с сердцем и окончательно взвалил на себя чемоданы и пошел вперед, спрашивая, куда нести.

— В самом деле, — спросила жена Белокопытова, — куда же ты намерен итти?

С некоторым недоумением и беспокойством Иван Иванович стал обдумывать, куда ему итти, но не знал

и спросил Еремеича, нет ли тут поблизости, хотя бы временно, какой-нибудь комнаты.

Снова поставив чемоданы, Еремеич стал тоже обдумывать и припоминать и, решив, наконец, что кроме как к Катерине Васильевне Коленкоровой итти некуда, пошел вперед. Но Иван Иванович, обогнав его, сказал, что он помнит эту добрейшую женщину Катерину Васильевну, помнит и знает, где она живет, и что он сам пойдет вперед, указывая дорогу.

И он пошел вперед, размахивая руками и хлюпая своими изящными заграничными ботинками по грязи.

Позади шел, совершенно запарившийся, Еремеич. За ним шла Нина Осиповна Арбузова, высоко подбрав юбки и открыв свои тонковатые ноги в светлых серых чулках.

4

Белокопытовы поселились у Катерины Васильевны Коленкоровой.

Это была простодушная, добровая бабенция, по странной причине интересующаяся чем угодно, кроме политических событий.

Эта Катерина Васильевна радушно приняла Белокопытовых в свой дом, говоря, что отведет им самую отличную комнату рядом с товарищем Яркимым, заведывающим первой государственной хлебопекарней.

И Катерина Васильевна несколько даже торжественно повела их в комнаты.

С каким-то трепетом, вдыхая в себя старый знакомый запах провинциального жилья, Иван Иванович вошел в сенцы, простые и деревянные с многими дырками в стенах, с глиняным рукомоиником в углу на веревке и кучей мусора на полу.

Иван Иванович восторженно прошел через сени, с любопытством рассматривая забытый им глиняный рукомоиник, и вошел в комнаты. Ему все сразу понравилось тут — и скрип половиц, и тонкие переборки комнат, и маленькие грязноватые окна, и низенькие по-

толки. Ему понравилась и комната, хотя, в сущности, комната была неважная и, по мнению автора, даже отвратительная. Но почему-то и сама Нина Осиповна отозвалась о комнате благосклонно, добавив, что для временного жилья это вполне прилично.

Автор приписывает это исключительно усталости приезжих. Автору впоследствии не раз приходилось бывать в этой комнате — более бесвкусной обстановки ему не приходилось видеть, хотя автор и сам живет в совершенно плохих условиях, в частном доме, у небогатых людей. Автор при всем своем уважении к приезжим совершенно удивляется их вкусу. Ничего привлекательного в комнате не было. Желтые обои отставали и коробились. Простой кухонный стол, прикрытый клеенкой, несколько стульев, диван и кровать — составляли все небогатое имущество комнаты. Единственным, пожалуй, украшением были оленьи рога, высоко повешенные на стене. Но на одних рогах, к сожалению, далеко не уедешь.

Итак, Белокопытовы временно поселились у Катерины Васильевны Коленкоровой.

Они сразу же повели жизнь тихую и размеренную. Первые дни, никуда не выходя из дому, из-за грязи и бездорожья, они сидели в своей комнате, прибирая ее или восхищаясь оленьими рогами, или делясь своими впечатлениями.

Иван Иванович был весел и шутлив. Он то бегал к окну, восторгаясь какой-нибудь телкой или глупой курицей, зашедшей поклевать уличную дрянь, то бросался в сени и, как ребенок смеясь, плескался под рукомойником, поливая свои руки то с одного носика, то с другого.

Нина Осиповна, щепетильная, кокетливая особа, не разделяла восторгов по поводу глиняного рукомойника. Она, с брезгливой улыбкой, говорила, что, во всяком случае, она предпочитает настоящий рукомойник, этакий, знаете ли, с ножкой или с педалью — нажмешь и льется. Впрочем, особой обиды насчет рукомойника

Нина Осиповна не высказывала. Напротив, она не раз говорила:

— Если это временно, то я согласна и не сержусь. И за неимением гербовой пишут и на простой.

И, умывшись утром, розовая и свежая, и помолодевшая лет на двадцать, Нина Осиповна с довольным видом спешила в комнаты и там, надев балетный костюм—этакие, знаете ли, трусики с газовой юбочкой—танцевала и упражнялась перед зеркалом, грациозно приседая то на одну, то на другую ногу, то на обе враз.

Иван Иванович ласково поглядывал на нее и на ее пустяковые затеи, находя впрочем, что провинциальный воздух ей положительно благоприятен, и что она уже несколько поправилась и пополнела, и ноги у ней не такие уж чересчур тонковатые, как были в Берлине.

Утомившись от своих приседаний, Нина Осиповна присаживалась в какое-нибудь кресло, а Иван Иванович, ласково поглаживая ее руку, рассказывал о своей здешней жизни, о том, как одиннадцать лет назад он бежал, преследуемый царскими жандармами, и о том, как он провел первые свои годы изгнания. Нина Осиповна расспрашивала мужа, живо интересуясь, сколько он имел денег, и какие у него были земли. Ахая и ужасаясь, как это он так быстро и сразу растратил свое состояние, она сердито и резко выговаривала ему за его глупую беспечность и чудачество.

— Ну как можно! Как можно так швыряться деньгами!— говорила она, сдерживая свое негодование.

Иван Иванович пожимал плечами и старался переменить разговор.

Иногда их беседы прерывала Катерина Васильевна. Она входила в комнату и, остановившись у дверей, покачиваясь из стороны в сторону, рассказывала Белокопытовым о всяких городских переменах и сплетнях.

Иван Иванович с жаром расспрашивал ее о своих дальних родственниках и немногочисленных знакомых и, узнав, что большинство из них умерло за эти годы, а иные, как политические эмигранты, уехали— качал

головой и беспокойно ходил вдоль комнаты, пока Нина Осиповна не брала его за руку и не усаживала на стул, говоря, что своим мельканием перед глазами он действует ей на нервы.

Так проходили первые дни без всяких волнений, тревог и происшествий. И только раз, под вечер, постучав в двери, вошел к ним их сосед, Егор Константинович Яркин, и, познакомившись, долго расспрашивал о заграничной жизни, спросив под конец, не продажный ли у них чемодан, стоявший в углу.

И узнав, что чемодан не продается, а стоит так себе, Егор Константинович, несколько оскорбившись, ушел из комнаты, молча поклонившись присутствующим.

Нина Осиповна брезгливо смотрела ему вслед, на его широкую фигуру с бычьей шеей, и печально думала, что вряд ли здесь, в этом провинциальном болоте, можно найти настоящего изысканного мужчину.

5

Итак, жизнь шла своим чередом.

Грязь уже несколько пообсохла, и по улицам взад и вперед стали снова прохожие, спеша по своим делам или прогуливаясь, луща семечки, хохоча и заглядывая в чужие окна.

Иногда на улицу выходили домашние животные и, пощипывая траву или роя ногами землю, степенно проходили мимо дома, нагуливая весенний жирок.

Высокообразованный, знающий отлично испанский язык и отчасти латынь, Иван Иванович ничуть не беспокоился о своей судьбе, надеясь в ближайшие же дни найти себе соответствующую должность и тогда перебраться на новую, более приличную квартиру. И, говоря об этом со своей женой, Иван Иванович спокойным тоном объяснял ей, что хотя сейчас у него материальные дела несколько и стесненные, но что в ближайшее время это изменится к лучшему. Нина Осиповна настойчиво просила его возможно поскорей приняться

за дело и определить свое положение, и Иван Иванович обещал ей, сказав, что завтра же он это сделает.

Однако, первые его шаги не увенчались успехом. Немного обескураженный, он и на другой день пошел в какое-то учреждение, но вернулся грустный и слегка взволнованный. И, пожимая плечами, он оправдывался перед женой, объясняя ей, что это не так-то просто и не так-то сразу дается приличная должность человеку, хотя и образованному.

Он каждое утро теперь выходил на поиски службы, но ему отказывали, то ссылаясь на отсутствие соответствующей должности, то на неимение у него служебного стажа.

Впрочем, принимали Ивана Ивановича всюду очень приветливо и внимательно, очень интересовались и расспрашивали о загранице и о возможности новых мировых потрясений, но, когда он переходил на дело, качали головами, разводили руками, говоря, что они ничего не могут поделать, и что испанский язык, язык очень забавный и редкий, но, к сожалению, потребности в нем не ощущается.

Белокопытов уже перестал говорить о своем испанском языке. Он больше напирал теперь на латынь, зная о его практическом применении, но и латынь Ивана Ивановича не вывозила. Его выслушивали, интересовались даже, прося для слуха изобразить по-латински стишок или фразу, но практического применения никакого не видели.

Иван Иванович перестал напирать на латынь. Он просил теперь письменной работы, или даже подшивания дел, но его расспрашивали, что он умеет, и какой у него профессиональный стаж. И узнав, что Иван Иванович ничего не умеет, и нет у него никакого профессионального стажа, обижались, говоря, что нельзя понапрасну беспокоить занятых людей.

Кое-где, Впрочем, Белокопытову предлагали понаведаться через месяц, не обещая пока ничего существенного.

Иван Иванович Белокопытов приходил теперь домой в мрачном и угнетенном состоянии. Наскоро съев жидковатый обед, он заваливался в брюках на постель и, отвернувшись лицом к стене, избегал разговоров и сцен со своей женой.

А она, в своих трусиках и в розовом газе, прыгала, что дура, вокруг зеркала, топоча ногами и закидывая кверху тонковатые свои руки с острыми локтями.

Иногда она пыталась делать сцены, наговаривая кучу всевозможных неприятностей Ивану Ивановичу и возмущаясь тем, что он вывез ее из-за границы на такую бессодержательную жизнь, но Иван Иванович, чувствуя и зная свою вину, отмалчивался. И только однажды сказал, что он ничего не понимает, что он и сам введен в заблуждение насчет испанского языка и насчет всей своей жизни. Он рассчитывал устроиться на приличную должность, но этого не выходит, оттого что он, оказывается, ничего не умеет и ничего не может, и что об этом он еще никогда не задумывался. Нина Осиповна заплакала, говоря, что это так не может продолжаться, что должен быть какой-то конец, что, в конце концов, они задолжали кругом и даже добрейшей своей хозяйке Катерине Васильевне. Тогда, попросив ее не плакать, он предложил ей продать чемодан, хотя бы соседу Егору Константиновичу Ярину.

Она так и сделала. Она лично пошла с чемоданом в комнату Яркина и долго просидела там, вернувшись несколько оживленной с деньгами в руках.

В дальнейшем таких сцен не повторялось. Вернее Иван Иванович, предчувствуя сцену, надевал шляпу и выходил на улицу. И всякий раз, когда выходил на улицу и проходил через сени, слышал, как его сосед, Егор Константинович, переговаривается через стенку с женой, предлагая ей кусок хлеба или бутерброд с сыром.

Иван Иванович выходил за ворота, на канаву и стоял там, уныло поглядывая на длинную улицу. Иногда он присаживался на скамейку возле палисадничка и,

обняв руками свои колени, сидел неподвижно, с бес покойством поглядывая на прохожих.

Мимо него проходили люди, спеша по своим делам. Какая-нибудь баба с корзинкой или с мешком с любопытством осматривала Ивана Ивановича и шла дальше, оборачиваясь назад раз десять или пятнадцать. Какие-нибудь мальчонки пробегали мимо него и, высовывая языки или хлопнув сидящего по коленке, стремительно убегали прочь.

Иван Иванович на все это смотрел с печальной усмешкой, в сотый раз думая все об одном и том же— о своей жизни и о жизни других людей, стараясь найти какую-то разницу или какую-то ужасную причину его несчастья.

Иной раз мимо Белокопытова проходили рабочие текстильной фабрики с гармоникой, шутками и песнями. И тогда Белокопытов несколько оживлялся и долго смотрел на них, слушая их веселые громкие песни, крики и возгласы.

И в такие дни, в дни сиденья на канаве, Ивану Ивановичу казалось, что он пожалуй что напрасно приехал сюда, в этот город, на эту улицу. Но куда нужно было приехать— он не знал. И еще более обеспокоенный и согнувшийся, он уходил домой, волоча по земле свои ноги.

6

Иван Иванович совершенно упал духом. Его восторженное состояние после приезда сменилось молчаливой тоской и апатией.

Он чувствовал какой-то испуг перед неведомой ему, оказывается, жизнью. Ему казалось теперь, что жизнь— это какая-то смертельная борьба за право существовать на земле. И тогда, в смертельной тоске, чувствуя, что речь идет о продлении его жизни, он выдумывал и выискивал свои способности, свои знания и способы их применения. И, перебирая все, что он знает, он приходил к грустному заключению, что он ничего не знает.

Он знает испанский язык, он умеет играть на арфе, он немного знаком с электричеством и умеет, например, провести электрический звонок, но все это здесь, в этом городе, казалось ненужным и для горожан несколько смешным и забавным. Ему не смеялись в лицо, но он видел на лицах улыбки сожаления и хитрые, насмешливые взгляды, и тогда он, съезжившись, уходил прочь, стараясь подольше не встречаться с людьми.

По заведенной привычке, он все еще ежедневно и аккуратно выходил на поиски работы. Не торопясь и стараясь идти как можно медленней, он, без всякого трепета как раньше, почти механически, высказывал свои просьбы. Ему предлагали зайти через месяц, иногда же просто и коротко отказывали.

Иной раз, приведенный в тупое отчаяние, Иван Иванович с сердцем упрекал людей, требуя немедленно работу и немедленную помощь, выставя свои заслуги перед государством. И, уходя после этого, он чувствовал какое-то крайнее унижение и чью-то жестокость.

Целыми днями он таскался теперь по городу и вечером, полуголодный, с гримасой на лице, бродил бесцельно из улицы в улицу, от дома к дому, стараясь оттянуть, отдалить свой приход домой.

Иной раз он проходил через весь город и, не заходя никуда и не останавливаясь, шел все прямо. И, минуя Слободку, выходил в открытое поле, пересекал „Собачью рощицу“ и шел к лесу. Там, побродив до сумерок, возвращался домой.

И он входил в свою комнату, закрывая глаза, зная, что налево, у зеркала, в углу сидит неподвижная Нина Осиповна и язвительно или в слезах осматривает его.

Он избегал разговоров, он избегал даже встреч, стараясь пробыть в доме недолго и только ночью.

Но однажды он сам заговорил с женой.

Он сказал, что все гибнет, что он отдает себя в руки судьбы, а она, Нина Осиповна, может, если найдет нужным, как угодно распоряжаться его имуществом.

Он намекал в данном случае на оставшийся чемодан и на кой-какие вещи из его заграничных костюмов.

Услышав через тонкую перегородку об этом, в комнату вошел Егор Константинович Яркин и сказал, что он с удовольствием идет навстречу их желаниям, но только от чемодана отказывается категорически.

— Все чемоданы, да чемоданы, — сказал Егор Константинович, хмурясь. — Нет ли чего другого продажного?

И узнав, что есть, он стал рассматривать какие-то вещи и какие-то штаны, поднося их к самым глазам. И, рассматривая на свет, хаял, понижая их достоинство.

Нина Осиповна, оживленная и неизвестно чем взволнованная, шутила с Егор Константиновичем, то хлопая его легонько по руке, то усаживаясь грациозно на ручку кресла и покачивая тонковатой ногой.

Наконец, Егор Константинович, оставив деньги и любезно попрощавшись, ушел, захватив с собой вещи.

Несколько дней после этого прошли спокойно и тихо. Но в конце недели, Иван Иванович, выйдя из дома утром, вернулся в полдень совершенно потрясенный и сияющий. Он нашел себе службу.

Он встретил на улице своего старинного приятеля, который, участливо расспросив и узнав о сумасшедшем положении Ивана Ивановича, схватился за голову, обдумывая, как бы немедленно и сразу помочь своему другу. Он, несколько конфузясь сказал, что он может, хотя бы временно, устроить его в один из потребительских кооперативов. Но что это временно, что такому образованному человеку, как Иван Иванович, необходима соответствующая должность.

Иван Иванович с дикой радостью схватился за предложение, говоря, что он заранее согласен в кооператив, что ему положительно по душе эта работа, и что он вовсе не захочет каких-то там проблематических перемен. И, условившись обо всем, Иван Иванович опрорметью бросился домой. И дома, теребя за руки то Катерину Васильевну, то свою жену, захлебываясь говорил о своем месте.

Он тотчас и немедленно развил им целую философскую систему о необходимости приспособляться, о простой и примитивной жизни и о том, что каждый человек, имеющий право жить, непременно обязан, как и всякое живое существо и как всякий зверь, менять свою шкуру, смотря по времени.

И, говоря об этом запутанным, ломаным языком, недоговаривая слова и перескакивая с мысли на мысль, он пытался доказать свою теорию. Нина Осиповна слушала его, хлопая ушами, нервно покуривая папиросу за папиросой.

Автор догадывается, что Иван Иванович Белокопытов, слегка запарившись от волнения, говорил о той великой научной теории, о симпатической окраске, о так называемой мимикрии, когда ползущий по стеблю жучок имеет цвет этого стебля для того, чтоб птица не склевала бы его, приняв за хлебную крошку.

Автору все это ясно и понятно. И автор ничуть не удивляется тому, что Нина Осиповна хлопала ушами, не понимая, о чем идет речь. Автор не слишком-то большого мнения о балетных танцовщицах.

7

Иван Иванович Белокопытов поступил в кооператив „Народное благо“.

Иван Иванович вставал теперь чуть свет, надевал свой уже потрепанный костюм и, стараясь не разбудить своей жены, на цыпочках выходил из дому и бежал на службу. Он приходил туда почти всегда первым и стоял у дверей по часу и больше, дожидаясь, когда, наконец, придет заведывающий и откроет лавку. И, выходя из лавки последним, вместе с самим заведывающим, он, торопливо шагая и прыгая через канавы, шел домой, неся в руках какую-нибудь выданную снедь.

Дома, захлебываясь и перебивая самого себя, он говорил жене о том, что эта работа ему совершенно по душе, что лучшего он и не хочет в своей жизни и

что быть хотя бы и приказчиком это не так-то позорно и унижительно, и что, наконец, эта работа очень приятная и нетрудная.

Нина Осиповна довольно симпатично относилась к этой перемене в жизни Ивана Ивановича, говоря, что если это временно, то это совсем не так плохо, как кажется на первый взгляд, и что в дальнейшем они, может-быть, даже смогут открыть свой небольшой кооперативчик. И, развивая эту мысль, Нина Осиповна приходила в совершенный восторг, рисуя себе картину, как они будут торговать сами — он за прилавком, сильный, с засученными рукавами и с топором, а она, грациозная и слегка напудренная, за кассой. Да, она непременно будет стоять за кассой и, весело улыбаясь покупателям, будет пересчитывать деньги, связывая их в аккуратные пачечки. Она любит пересчитывать деньги. Даже самые грязные деньги все же чище кухонного передника и посуды.

И, думая так, Нина Осиповна хлопала в ладоши, наскоро надевала розовое трико и газ и снова начинала свои дурацкие прыжки и экивоки. А Иван Иванович, утомленный дневной работой, заваливался спать, с нетерпением ожидая утра.

И, вернувшись к вечеру, Иван Иванович снова и опять делился с женой своими впечатлениями за день или смеясь рассказывал ей о том, как он вешал сегодня масло. И что легкий, едва уловимый нажим одного пальца на весы чрезвычайно меняет вес предмета, оставляя кое-что в пользу приказчика.

Нина Осиповна оживлялась в этих местах. Она удивлялась, почему Иван Иванович нажимает одним только пальцем, а не двумя, говоря, что двумя, это еще больше уменьшит вес масла. При этом страшно жалела, что нельзя вместо масла подсовывать покупателям какую-нибудь светловатую дрянь, в роде глины.

Тогда Иван Иванович поднимал свою жену на-смех, упрашивая ее не очень-то вмешиваться в его дела, чтоб не переборщить через край и тем самым не потерять

службу. Но Нина Осиповна сердито советовала ему не слишком-то церемониться и не очень-то миндальничать с обстоятельствами. Иван Иванович соглашался. Он с некоторым даже пафосом говорил, что цинизм, это—вещь совершенно необходимая и в жизни нормальная, что без цинизма и жестокости ни один даже зверь не обходится, и что, может-быть, цинизм и жестокость и есть самые правильные вещи, которые дают право на жизнь. Иван Иванович говорил еще, что он был раньше глупым, сентиментальным щенком, но теперь он возмужал и знает, сколько стоит жизнь, и даже знает, что все, что он раньше считал своим идеалом: жалость, великодушие, нравственность — все это не стоит ломаного гроша и выеденного куриного яйца.

Нина Осиповна не любила его таких отвлеченных философских идей. Она с досадой махала рукой, говоря, что вполне предпочитает не слова, а реальные, видимые факты и деньги.

Так шли дни.

Иван Иванович Белокопытов сделал уже несколько покупок и приобретений. Так, например, он купил несколько глубоких тарелок с синими ободками, две или три кастрюльки и, наконец, примус.

Это было целое торжество, когда Иван Иванович купил примус. Иван Иванович сам распаковал его и сам стал показывать Нине Осиповне, как с ним обращаться и как готовить на нем обед или подогревать мясо.

Иван Иванович стал хозяином и расчетливым человеком. Он чрезвычайно жалел, что за бесценок продал соседу свои заграничные костюмы. Но тут же утешал себя, говоря, что это дело наживное, и что в ближайшее время он, непременно, купит себе хороший, но простой и немаркого цвета костюм.

Однако, костюма Иван Ивановичу купить не удалось.

Однажды, выйдя перед закрытием из лавки и сунув в потфель два фунта стеариновых свечей и кусок мыла, Иван Иванович пошел через двор к выходу.

В воротах его окликнул охранник, криказав ему остановиться и показать содержимое портфеля.

Весь как-то сразу осунувшись, Иван Иванович стоял молча и глядел на охранника, не двигаясь [с места. А охранник, сказав, что получен строжайший приказ не выпускать со двора без обыска, повторил свое требование.

Иван Иванович стоял совершенно ошеломленный, с трудом понимая, что происходит. Он позволил открыть свой портфель, откуда, при радостных криках собравшихся, были извлечены злополучные свечи и мыло.

Белокопытова пригласили в охрану, отобрали свечи, сняли с него допрос и, составив убийственный для него протокол, отпустили его, смеясь над его забавным видом, над его фигурой с прижатым к груди пустым и растянутым портфелем.

Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Иван Иванович, не представляя ясно своего положения, вышел пошатываясь на улицу. Он пошел сначала по направлению к дому, затем, не дойдя улицы Сен-Жюста, повернул налево и пошел как-то странно, не шевеля руками и не ворочая головой.

Он обошел несколько кварталов, посидел на какой-то лавчонке и поздно ночью вернулся домой.

Он вошел в дом, как слепой шаря перед собой руками, и, войдя в комнату, лег на постель, и, отвернувшись к стене, принялся водить пальцами по узорам обоев.

Он ни слова не проронил своей жене. И та ничего не спрашивала, узнав заранее обо [всем. Эту новость сообщил ей Егор Константинович, придя домой, после службы.

И теперь, несмотря на присутствие Белокопытова, Егор Константинович, постучав слегка в стену, спросил Нину Осиповну, не нужно ли ей чего и не хочет ли она выкушать стакан чаю с бутербродом.

Нина Осиповна, не глядя на мужа, грудным, мелодичным тоном отвечала, что она сыта по горло и сейчас

ложится спать. Егор Константинович еще что-то спросил предупредительно и вежливо, но она, раздеваясь и зевая, сказала, что спит.

И она действительно легла на диван и, закрыв лицо руками, лежала так неподвижно и странно. Иван Иванович приподнялся, чтобы потушить свет, но, взглянув на диван, сел и долго смотрел на жену. И ему показалось, что у нее отчаянное состояние, что она близка к гибели. И он хотел подойти к жене, встать на колени и что-то говорить бодрым и спокойным тоном. Но не смел.

8

Он лежал, вытянувшись вдоль кровати, стараясь не двигаться и ни о чем не думать. Но думал не о случившемся сегодня, а о своей жене, о печальной ее жизни и о том, что не все люди имеют право существовать.

С этими мыслями он стал засыпать. Какая-то страшная усталость сковала его ноги, и какая-то тяжесть легла на все его тело. И, закрыв глаза, он замер. Дыханье его стало ровное и спокойное.

Но вдруг осторожное шарканье ног и скрип двери заставил его вздрогнуть и проснуться.

Он проснулся, вздрогнув всем телом. Присел на кровать и беспокойно оглядел комнату. Небольшая керосиновая лампа еле горела, скудно отбрасывая длинные тени. Иван Иванович оглянулся на диван — жены не было.

Тогда, беспокоясь и волнуясь за нее, он вскочил на ноги и прошел по комнате, осторожно ступая на носки.

Потом подбежал к двери, открыл ее и в испуге, в предутренней дрожи стуча зубами, бросился в коридор. Он выбежал в кухню, заглянул в сени — все было тихо и спокойно. Только курица в сенях, вспугнутая Иван Ивановичем, шарахнулась в сторону, страшно закричав.

Белокопытов вернулся в кухню. Сонная Катерина Васильевна сидела теперь на кровати, очень зевая и мелко крестя свой рот. Она вместе с тем прислушивалась к необычайному шуму. И, увидев перед собой Ивана Ивановича, спокойно улеглась, думая, что он идет за нуждой.

Но Иван Иванович, подойдя к хозяйке, стал теребить ее за руку, умоляя ответить, не проходила ли через кухню его жена.

Крестясь и разводя руками, Катерина Васильевна отговаривалась незнанием. Потом она стала надевать на себя юбку, говоря, что если Нина Осиповна и ушла, то, небось, вернется.

И, одевшись и подойдя к запертой двери, Катерина Васильевна сказала, что жена Ивана Ивановича дома. И если нету ее в комнате, то, небось, сидит у соседа.

И, поманив Белокопытова пальцем, повела его в коридор и, подойдя к дверям Яркина, припала к замочной скважине.

Иван Иванович тоже хотел подойти к двери, но в эту минуту пол под ним скрипнул, и в комнате соседа завозились. И сам Егор Константинович, шлепая босыми ногами, подойдя к двери, спросил хрипло:

— Кто? Чего надо?

Иван Иванович хотел промолчать, но сказал:

— Это я... Не у вас ли Нина Осиповна Арбузова?

— У меня, — сказал Яркин. — Чего надо?

И, не получив ответа, взялся за ручку двери.

В комнате послышался прерывистый шопот. Нина Осиповна настойчиво умоляла отдать ей какой-то револьвер, говоря, что все обойдется благополучно. Потом сама, подойдя ближе к двери и взявшись за ручку, спросила негромко:

— Ваня... ты?

Иван Иванович съежился и, пробормотав неясное, удалился в свою комнатку. И там присел на кровать.

Автор предполагает, что особого отчаяния у Иван Ивановича не было. А если Иван Иванович и присел

на кровать с видимым отчаянием, то, может, это только в первую минуту. Потом-то, раздумав, он наверное даже обрадовался. Автору кажется, что Иван Иванович и не мог не обрадоваться. Страшная обуза сошла с его плеч. Все-таки беспокойство о жизни Нины Осиповны, всякие для нее удовольствия, театры и лучший кусок хлеба он должен был предоставить ей. А теперь, когда жизнь Ивана Ивановича сильно ухудшилась, то и прокормить такую дамочку вопрос был немаловажный. Тем более, что, напрыгавшись за день перед зеркалом, она и за двоих съедала.

Так вот, посидев на кровати и придя к заключению, что нет ничего ужасного, Иван Иванович снова лег и пролежал до утра, не смыкая глаз. Он ни о чем не думал, но его голова гудела и наливалась свинцом.

И когда он встал—это был несколько иной Иван Иванович. Впалые глаза, желтая сморщенная кожа и трепаные волосы чрезвычайно его изменили. И даже, когда он вымылся холодной водой, эта перемена не исчезала.

Утром, одевшись и по привычке причесав свои волосы, Иван Иванович вышел из дому. Он медленным шагом дошел до кооператива, но вдруг, повернув круто в сторону и вздрогнув, зашагал прочь.

Он долго шел унылым механическим шагом и, выйдя за город, направился на свое любимое место к лесу, за „Собачью рощицу“.

Он прошел рощу, ступая на желтые, осенние листья, и вышел на полянку.

Вся полянка была изрыта старыми, оставшимися от войны окопчиками, землянками и блиндажами. Ржавая колючая проволока висела клочками на небольших кольях.

Иван Иванович любил это место. Он не раз бродил здесь по окопчикам, лежал у опушки леса и, глядя на все эти военные затеи, хитро улыбался своим мыслям. Но теперь он несколько равнодушно и как бы не замечая ничего, прошел мимо и, дойдя до леса, присел на

полузаваленную землянку, вырытую лет, может, семь назад.

Он долго сидел так ни о чем не думая, потом пошел дальше, потом снова вернулся и лег на траву. И лежал долго, уткнувшись ничком, и для чего-то теребил руками траву. Потом снова встал и пошел в город.

Была ранняя осень. Желтые листья лежали на земле. И земля была теплая и сухая.

9

Иван Иванович стал жить один.

Возвращаясь после своих скитаний домой и с грустью оглядывая свое опустевшее жилье, Иван Иванович присаживался на кровать, обдумывая, какие вещи исчезли из комнаты вместе с Ниной Осиповной. Таких вещей оказывалось порядочно: не было примуса, купленного в счастливые дни, не было скатерти на столе, даже было снято и унесено зеркало и небольшой коврик перед кроватью.

Иван Иванович не очень-то огорчился о потере этих вещей. „Чорт с ними!“ — думал добрый Иван Иванович, прислушиваясь, что говорили за стенкой.

Но за стенкой говорили постоянно шопотом и слов нельзя было разобрать. Только время от времени были слышны басовые нотки Егора Константиновича. Это Егор Константинович, видимо, утешал Нину Осиповну, боявшуюся за свое новое благополучие и за те вещи, которые она взяла, не спросив мужа.

Но Ивану Ивановичу теперь было не до вещей. Он каждое утро направлялся за город, шел через рощицу и, миновав полянку, выходил к лесу.

Там, присаживаясь на свою землянку или бродя по лесу и цепляя ногами за коряги, он думал, вернее обдумывал свое новое положение. Он старался одной какой-то мыслью определить то, что случилось, что произошло и отчего произошло.

Но не знал.

Он знал только, что те несколько его теорий о существовании никак не подходят теперь к его этой жизни, и что ни приспособление, ни яростная борьба с жизнью, ни жестокости, ни даже возможность работы — не спасут его от неминуемой гибели.

Гибель была предрешена — это он знал, но в силу какой-то воли он старался найти выход и хотя бы теоретически придумать возможность выхода, возможность продлить свое существование. Он не хотел смерти. Напротив, задумываясь об этом, он с досадой отгонял эту мысль, считая ее вздорной и ему ненужной. И старался в такие моменты думать о другом.

И, бродя по лесу, Иван Иванович думал, что отчего бы ему не остаться здесь жить. Ему уже рисовались картины, как он живет в полузаваленной землянке, среди грязи и нечистот, и как ползком, как животное, на четвереньках вылезает из своей норы и отыскивает пищу.

Но потом смеялся.

Он теперь не всякий вечер уходил домой. Он оставался иногда в лесу. И полуголодный, поедая сырые грибы, корни и ягоды, засыпал под каким-нибудь деревом, положив под голову свои руки.

А во время дождя он вползал в землянку. И сидел в землянке, скорчившись и обняв худые свои ноги, слушая, как капли дождя колотят о деревья.

10

Была осень. Шли непрерывные дожди. Снова невозможно было выходить без галош. И снова грязь доходила до колен.

Нина Осиповна жила с Егор Константиновичем Ярким беспечно и тихо. Ей пришлось отложить свои упражнения в танцах. Она была беременна, и Егор Константинович, узнав об этом, боясь за потомство, категорически воспретил ей наряжаться в розовую дрянь, грозя, в противном случае, сжечь в печке эти тряпки. И Нина

Осиповна, покапризничав и слегка поплавав, смирилась и сидела теперь подле окна, безучастно глядя на грязную улицу. Но иной раз она спрашивала у Яркина, не знает ли он чего об ее муже. Егор Константинович усмехался и махал рукой, прося, ради будущего ребенка, не думать о муже.

И Нина Осиповна умолкала, думая все же, отчего это все реже и реже она слышит шаги в соседней комнате.

И, действительно, Иван Иванович все реже стал ходить домой, и когда ходил, то избегал встреч с людьми, а встречая очень конфузился и перебегал улицу, стараясь скрыть свой промокший побуревший костюм.

Иван Иванович не входил даже теперь в свою комнату. И, приходя домой, останавливался в сенях и молча здоровался с Катериной Васильевной, всякий раз боясь, что она заорет, затопает ногами и погонит его прочь. Но Катерина Васильевна, не скрывая своего удивления и жалости, и, почему-то, не зовя его хотя бы в кухню, выносила ему в сени хлеб, суп или все, что осталось от обеда. И, не сдерживая своих слез, плакала, смотря, как Иван Иванович худыми, серыми пальцами разрывал еду и проглатывал, чмокая и скрипя зубами.

И, съев все, что ему приносилось, и схватив с собой кусок хлеба, Иван Иванович трогал за рукав Катерину Васильевну и убегал снова.

Он снова возвращался в свою землянку. И снова садился в обычную свою позу, кашляя и сплевывая на свой костюм.

Но он не был сумасшедшим, этот Иван Иванович Белокопытов. Автору доподлинно известна его встреча с одним из старых приятелей. Иван Иванович вполне разумно и несколько даже иронически говорил о своей жизни. И, потрясая лохмотьями своего заграничного костюма, громко смеялся, говоря, что все это вздор, что все слезает с человека, как осенью шкура животного.

И попрощавшись с приятелем, крепко пожав ему руку, пошел к своей землянке.

Странно и непонятно жил теперь Иван Иванович. Стараясь ни о чем не думать, а жить так, как-нибудь, чтобы прожить, он все же, видимо, не мог не думать и все время носился со своими планами о жизни, приходя к заключению, что жить в землянке не так-то уж плохо, но что из всех животных он самое плохое животное, у которого хронический бронхит и насморк. И, думая так, Иван Иванович печально покачивал головой.

Ему теперь все чаще и чаще приходила мысль о неминуемой гибели, но он попрежнему с раздражением отвергал мысль о самоубийстве. Ему казалось, что нет у него на это ни воли, ни охоты, и что ни одно животное никогда еще не погибало от самого себя.

Была ли в этом слабая воля Ивана Ивановича, или была какая-то неопределенная надежда — неизвестно. Во всяком случае однажды и неожиданно Иван Иванович придумал план, по которому он должен погибнуть.

Это было утром. Осеннее солнце было еще ниже деревьев, когда Иван Иванович, вздрогнув, проснулся в своей землянке. Страшная сырость, дрожь и озноб охватили все его тело. Он проснулся, открыл глаза и вдруг совершенно отчетливо подумал о своей гибели. Ему показалось, что сегодня он должен погибнуть. Как и отчего, он еще не знал. И стал думать. И вдруг решил, что должен погибнуть, как зверь, в какой-то отчаянной схватке.

В его воображении стали рисоваться картины этой схватки. Он борется с человеком, хотя бы с Егор Константиновичем, к которому ушла его жена. Они грызутся зубами, валяются по земле, подминают под себя друг друга, рвут волосы...

Иван Иванович окончательно проснулся и, дрожа всем телом, сел на землю. И осторожно, мысль за мыслью, стал обдумывать, стараясь не пропустить ни одной мелочи.

Вот он приходит в комнату. Отворяет дверь. Яркий, непременно, сидит за столом направо. У окна будет

сидеть Нина Осиповна, сложив на животе руки. Иван Иванович подойдет к Яркину и пихнет его двумя руками в плечо и грудь. Тот откинется назад, стукнется головой о стену, потом вскочит и, вынув револьвер, застрелит его — Ивана Ивановича Белокопытова.

И, придумав такой план, Иван Иванович вскочил на ноги, но, ударившись головой о потолок, сел и пополз из землянки.

И спокойным ровным шагом пошел в город, обдумывая мелочи. Потом, желая закончить все скорей и разом, бросился опрометью бежать, вскидывая ногами и разбрасывая вокруг себя грязь, листья и брызги.

Он долго бежал. Почти до самого дома. И только увидев дом, замедлил шаг и пошел совсем тихо.

Какая-то белая собачонка равнодушно залаяла на него.

Нагнувшись и подняв с земли камень, Иван Иванович метко бросил в нее.

Собака с визгом отбежала за ворота и, высунув морду в калитку, отчаянно залаяла, скаля зубы.

Схватив кусок грязи, Иван Иванович бросил в собаку опять. Потом бросил еще раз. Потом подошел к воротам и принялся дразнить животное ногой, подпрыгивая и стараясь попасть по зубам.

Какое-то бешенство, испуг овладели собакою. Она в смертельном страхе скулила уже, поднимая верхнюю губу и стараясь ухватить человека за ногу. Но Иван Иванович ловко и во-время отдергивал ногу и бил собаку рукой и грязью.

Бабка Пепелюха, как ошпаренная кипятком, выскочила из дому, подбирая самые ужасные и яростные выражения для гнусных мальчишек, дразнивших ее пса. Но, увидев большого, лохматого человека, разинула рот, сказав сначала, что довольно стыдно сознательным гражданам дразнить собак. Но снова смолкла и, разинув рот, остановилась неподвижная, глядя на удивительную сцену.

Иван Иванович, стоя теперь на коленях, боролся с собакой, пытаясь руками разорвать ей пасть. Собака

судорожно хрипела, раскидывая и царапая землю ногами.

Тетка Пепелюха, странно и тонко закричав, бросилась к Ивану Ивановичу и, еле вырвав от него собаку, убежала в дом.

А Иван Иванович, обтерев искусанные свои руки, медленным и тяжелым шагом пошел дальше.

Автору несколько странно и чудно говорить об этом происшествии. Автор даже слегка огорчен поступком Ивана Ивановича. Конечно, автор ничуть не жалеет пепелюхиной собаки, пес с ней, с собакой, автор только огорчается той неясностью и нелепостью поступка и положительно не знает, — в тот момент зашел ли у Ивана Ивановича ум за разум, или ум за разум не заходил, а была просто игра, случайность, крайнее раздражение нервов. Впрочем, все это крайне неясно и психологически непонятно.

И такая неясность, уважаемые читатели, к знакомому лицу и к известному характеру! А хорош был бы автор, спутавшись с неизвестным героем? Заврался бы, вконец заврался!

Даже английский писатель Джек Лондон — и тот бы заврался. Очень уж разноречивые были на этот счет слухи.

Тетка Пепелюха, например, крестилась и божилась, что Иван Иванович был совершенно тронувшись, что у него висел язык, и изо рта слюни текли. Катерина Васильевна, не менее набожная дамочка, тоже была близка к той же мысли. Однако, станционный сторож и герой труда Еремей утверждал обратное. Он говорил, что Иван Иванович Белокопытов здоров, как бык, и что больных и свихнувшихся обыкновенно сажают в специальные дома. Егор Константинович Яркин тоже был уверен в полном уме и твердой памяти Белокопытова. Что же касается уважаемого товарища Ситникова, то Ситников не брался что-либо утверждать, говоря, что он может, в случае крайней надобности, списаться с одним московским психиатром. Но это длинно и неверно. Пока

товарищ Ситников напишет, да пока московский психиатр раскachaется с ответом, да, небось, ответит еще выпивший и, даром что московский психиатр, а такую галиматью понесет, что вставишь ее в печать, а после, поди доказывай, что ты не при чем тут. Лучше уж, оставив все это на совести самих читателей, автор перейдет к дальнейшему.

11

Иван Иванович отер свои руки о костюм и пошел к дому. Кровь медленно стекала с обкусанных собакой пальцев, но Иван Иванович, ничего не замечая и не чувствуя боли, подходил к дому.

Он остановился на мгновение у калитки и, оглянувшись назад, шмыгнул во двор. Вбежал по ступенькам и, приоткрыв двери, тихо вошел в сени.

Станный трепет прошел по его телу. Сердце стучало, и дыхание было прерывистым.

Он постоял в сенях и, никем не замеченный, вошел в коридор. И там, на скрипучих досках, подойдя к двери Яркина, остановился, прислушиваясь.

Было, как и всегда, тихо.

Иван Иванович вдруг толкнул от себя дверь, и открыв ее настежь, вошел за порог.

Все было, как и думал Иван Иванович. Направо, у стола, сидел Яркин. Налево, у окна, в кресле, сложив на животе руки, сидела Нина Осиповна. На столе стояли стаканы. Лежал хлеб. И на шипящем примусе кипел чайник.

Каким-то одним взглядом Иван Иванович впитал в себя все это и, продолжая неподвижно стоять, взглянул на свою жену.

Она тихо ахнула, увидев его, и приподнялась в кресле. А Егор Константинович замахал на нее руками, упрямивая не беспокоиться ради ребенка. Потом, приподнявшись, чтобы пойти навстречу гостю, остановился и снова сел, рукой приглашая войти в комнату и приоткрыть дверь, не остужая зря помещения.

И Иван Иванович вошел. Слегка потупив голову и приподняв плечи, он подошел к сидящему Егору Константиновичу и остановился в двух шагах от него. Смертельная бледность вдруг покрыла лицо Егор Константиновича. Он сидел на стуле, несколько откинувшись назад, и, шевеля губами, не двигался с места.

Иван Иванович несколько секунд стоял молча. Потом, быстро взглянув на Яркина, на то место, куда он должен был ударить, вдруг усмехнулся и, отойдя несколько в сторону, присел на стул.

Егор Константинович выпрямился на своем месте и глядел теперь на Белокопытова сердитым, злым взглядом. А Иван Иванович сидел, опустив руки плетью, и невидимым взором глядел в одну точку. И думал, что у него нету ни злобы, ни ненависти к этому человеку. Он не мог и не хотел к нему подойти и ударить. И сидел на стуле и чувствовал себя усталым и нездоровым. И ему ничего не хотелось. Ему хотелось выпить горячего чаю.

И, думая так, он взглянул на примус, на чайник на примусе, на хлеб, нарезанный ломтиками. Крышка на чайнике приподнималась, пар валил клубом, и вода с шипением обливала примус.

Егор Константинович встал и загасил огонь.

И тогда в комнате наступила совершенная тишина.

Нина Осиповна, увидев, что Иван Иванович пристальным взором смотрит на примус, снова приподнялась в своем кресле и, жалобным тоном, скорбно сжав губы, стала уверять, что она вовсе не хотела зажечь этот несчастный примус, что она взяла его временно, зная, что Иван Иванович в нем не нуждается.

Но Егор Константинович, замахав на нее руками и прося не волноваться, ровным, спокойным голосом стал говорить, что он низачто не возьмет даром этой штуки, что завтра же он заплатит Ивану Ивановичу полностью все деньги по рыночной стоимости.

— Я заплатил бы вам и сегодня, — сказал Егор Константинович, — но я должен разменять деньги. Завтра вы обязательно зайдите утром же.

— Хорошо, — коротко сказал Иван Иванович. — Я зайду.

И вдруг, забеспокоившись и заерзав на стуле, Иван Иванович обернулся к своей жене и сказал, что он просит его извинить, что он очень устал и потому сидит на стуле такой грязный.

Она закивала головой, волнуясь и скорбно сжимая губы. И, снова приподнявшись на стуле, сказала

— Ты, Ваня, не сердись...

— Я не сержусь, — просто ответил Иван Иванович.

И встал. Шагнул к жене, потом поклонился и молча вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь.

Он вышел в коридор. Постоял с минуту. И пошел к выходу.

В кухне его ожидала Катерина Васильевна. Почему-то знаками и боясь проронить слово она манила его, приглашая жестами присесть и покушать супу. И Иван Иванович, почему-то тоже не проронив слова, молча покачал головой и, улыбнувшись и погладив хозяйке руку, вышел.

С криком выбежала Катерина Васильевна за ним, но Иван Иванович, обернувшись и махнув рукой, прося этим не идти за ним, скрылся за воротами.

12

На другой день Иван Иванович за деньгами не зашел. Он исчез из города.

Егор Константинович Яркин лично, с деньгами в руках, обегал все улицы, все учреждения, отыскивая Ивана Ивановича. Егор Константинович говорил, что он совершенно тут не при чем, что деньги за примус — вот они, деньги, — что он вовсе не желает пользоваться чужим добром и что если он не найдет Ивана Ивановича, то пожертвует эти деньги на детский дом.

Егор Константинович бегал даже на полянку, за „Собачью рощицу“, но Ивана Ивановича не нашел.

Как зверь, которому неловко после смерти оставить на виду свое тело, Иван Иванович бесследно исчез из города.

Товарищ Петр Павлович Ситников и сторож герой труда Еремей в один голос утверждали, что видели, будто Иван Иванович Белокопытов вскочил на отходящий поезд. Но зачем он вскочил и куда он уехал — никому неизвестно. Никто и никогда о нем больше не слышал.

13

Была прелестная весна.

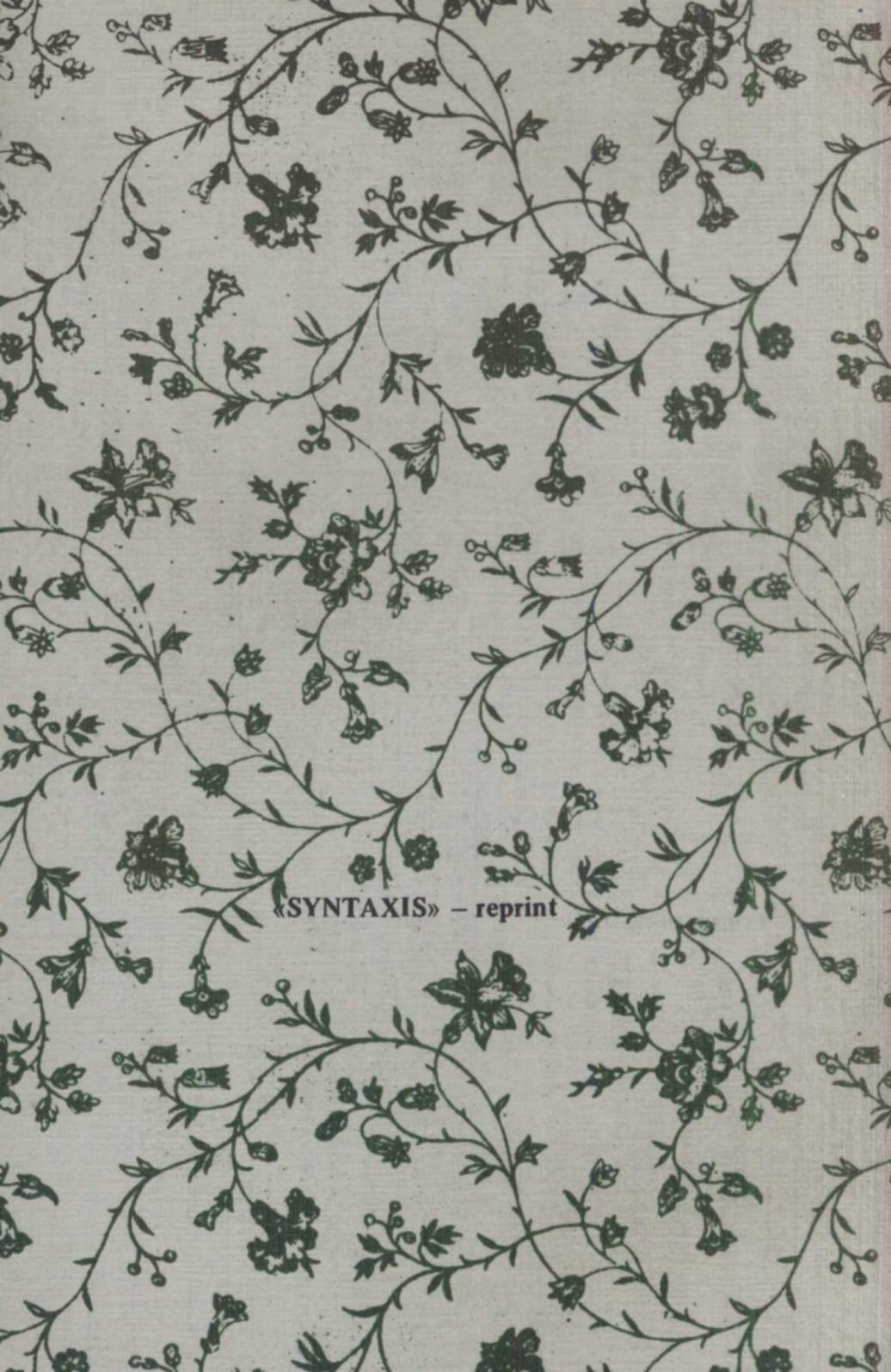
Снег уже стаял. И птицы снова приветствовали свой новый год.

В один из таких дней Нина Осиповна Арбузова решилась от бремени, подарив миру прекрасного мальчишку в восемь в половиной фунтов.

Егор Константинович был необыкновенно счастлив и доволен.

Деньги же за примус, двенадцать рублей золотом, он пожертвовал на детский дом.

1924 г.



«SYNTAXIS» — reprint